

Светлана МЕТЕЛЁВА

• Все совпадения случайны. Все имена придуманы.
Одно только оставлено без изменений —
имя московского Чернокнижника Бориса Горелова. •



• ЧЕРНОКНИЖНИК. •



Светлана Метелёва
Чернокнижник
Серия «Звезды русского
магического реализма»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28957908

Чернокнижник: АСТ; Москва; 2018
ISBN 978-5-17-105900-2

Аннотация

Конечно же роман Метелёвой насквозь литературоцентричен – в качестве субстрата в нем сквозит не только «Имя Розы» Умберто Эко, не только вся отечественная литература о 90-х, но и плутовской роман, и психоделические опыты в духе Хантера Томпсона, и черт знает что еще... Однако вечная спутница подобной «литературности» – предсказуемость – «Чернокнижнику», в общем, не присуща. Автор ловко закладывает петли, то пугая читателя чертовщиной, то успокаивая полным ее разоблачением, то царапая реалиями «лихих 90-х», то поглаживая книжными аллюзиями. <...> «Чернокнижник» даст сто очков форы половине романов из шорт-листа премии «Русский Букер».

Галина Юзефович

Содержание

Предисловие	5
Пролог	8
Часть первая	10
Глава 1. Фатальная неосторожность	10
Глава 2. Загадка	28
Глава 3. Предательство	51
Глава 4. Борьба против Бога	68
Глава 5. Бунт	83
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Светлана Метелёва

Чернокнижник

© Светлана Метелёва, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Предисловие

...Лето 2004 года. Июль – разгар журналистского «бестемья»: ньюсмейкеры в отпусках, событий нет, писать не о чем. И вдруг – предложение от одного из тех, кого корреспонденты снисходительно именуют «источниками» – есть интересный человек. Когда-то совершил кражу века – вынес из библиотеки Института Маркса – Энгельса – Ленина, знаменитой «сталинки», больше шести тысяч раритетных томов. Отсидел – вышел. В тюрьме пережил серьезный душевный переворот – и теперь собирается искать у букинистов те книги, что десять лет назад им продавал, выкупать – и возвращать государству.

Так я познакомилась с Борисом Гореловым.

Несколько встреч по делу – интервью, уточнение деталей, проверка материала – я придумала Боре прозвище «Чернокнижник», потому что в середине 90-х он буквально обрушил черный рынок антикварных книг. А потом случилось чудо – как и положено: после статьи Бориса с моей помощью нашел ректор одного из московских вузов, того, что занимал здание на Вильгельма Пика, откуда когда-то Горелов выносил свою добычу. Чернокнижнику Горелову предложили должность директора Особой секции библиотеки. Это была *та самая* секция. Десять лет назад он выносил оттуда первые и вторые издания, раритетные сокровища, потом – когда

вышел из тюрьмы – искал украденное, собирал у себя дома, и вот наконец ему дали возможность поставить на полку те книги, что он когда-то с этой полки взял. Про Бориса сняли документальный фильм; мы продолжали созваниваться, встречаться, разговаривать. В конце концов он дал мне свой дневник. Не могу сказать, что он произвел на меня какое-то особенно сильное впечатление. Но там были рисунки Бороного тюремного кореша, киллера. Вот их я до сих пор не могу забыть. Киллер рисовал прекрасно – ему особенно удавались люди. Но у всех его портретов не было глаз.

Летом 2006 Борис рассказал о своей «охоте»: он давно, уже больше года, искал первое издание «Утопии» Томаса Мора, которое исчезло из библиотеки еще до него, и он догадывался, кто, как и при каких обстоятельствах его украл.

В октябре 2006-го мне позвонили – какой-то общий знакомый; сейчас не вспомню даже его имени. Он сказал: «Боря умер».

Последний раз я видела Горелова в больничном морге. В смерти Чернокнижник стал совсем иным. Исчезло вечное беспокойство; в этом мертвом лице не было и следа тех метаний, которые, кажется, составляли самую суть этого человека.

Я пыталась выяснить, что стало с дневником – не иллюзорным, а другим, настоящим. Никто не знал. После смерти Бориса в его квартире не нашли ни одной из трех толстых тетрадей, исписанных карандашом.

И тогда я написала свой вариант Бороного дневника.

Разумеется, это значит, что ни о какой достоверности в этой книге не может быть и речи. Перед вами – художественное произведение. Авторский вымысел. Литературный произвол. Однако некоторые моменты требуют уточнений, иначе текст будет не вполне понятен. Это, конечно же, названия глав в первой части. Я обратила внимание на какие-то неоправданные заголовки еще в 2005-м, когда впервые читала Борины записи. Горелов объяснил: мировая литература знает двенадцать «бродячих сюжетов». Их достаточно, чтобы изложить любую историю; описать любую судьбу. Я оставила это без изменений. В тексте встречаются цитаты – это тоже не случайно: Борис собирал истории книг и книжных воров, что-то переписывал, какие-то вырезки из газет и журналов просто вклеивал в свой дневник. Я воспроизвела то, что помнила, ибо кто скажет точно, где в книге нашей собственной жизни заканчивается авторская речь и начинается безудержное цитирование?

Разумеется, имена собственные я изменила – все, кроме одного.

Осталось нетронутым только имя московского Черно-книжника Бориса Горелова.

Светлана МЕТЕЛЁВА

Пролог

...Умер я в конце октября, в палате одной из московских больниц. Последние судороги почти сутки терзали догорающее тело. Словно что-то суетилось внутри меня, металось и вздрагивало, вспрысками боли напоминая, что еще не конец. Я все время пытался пристроить на больничной койке руки и ноги, но никак не мог; неудобно было лежать смирно, ворочаться еще неудобнее, будто суставы и сочленения уже не находили себе места на этом свете. Ощущение, что тела моего слишком много, преследовало меня, вторгалось в последние проблески сознания и очень мешало.

Не было в смерти ничего трагического или страшного, а было только омерзительное и отталкивающее. И пока меня выжигало изнутри, я понял всем своим убывающим существом, что нет никакой духовной гибели, а лишь одна телесная. А гибель телесная, как и рождение, – это боль и смрад, тяжесть земли в воде и содрогания воды в огне.

Театром теней представляли картины будущего и прошлого – однако будущее уже случилось, а прошлое только должно было наступить. И все время неостановимо говорил голос – вроде бы мой. Голос рассказывал, объяснял, описывал – разное, на разных языках, но – странно – одними и теми же словами. И это сильнее всего остального мучило меня, заставляло изгибаться и корчиться неуклюжее тело

и помертвелую душу. Страшно мне было то, что не заслужил новых, других, слов, а значит, и новой судьбы. И метался я в одиночной камере своего сердца, спотыкался, гремел цепями и – говорил, говорил, говорил; рассказывал, что было со мной и чему суждено произойти; и жаждал тишины – а ее не было; хотел замолчать – и не мог.

...И по-прежнему пребывало Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...

Часть первая

Глава 1. Фатальная неосторожность

Май 1994 года

– В начале было Слово и Слово было у Бога...

Странный человечек в длинном и белом балахоне с грязными разводами стоял на Арбате, в самом его конце, недалеко от Смоленки. У фонарного столба, за кафедрой, утащенной неизвестно откуда... Перед ним лежала раскрытая книжка, обернутая в газету, он придерживал страницу пальцем, но в текст не заглядывал – шпарил наизусть. Я прислушался.

– Слово ваше да будет с благодатью, приправлено солью. Соль-мудрость и благодать-огонь, а сердце ваше – духовная кухня, и там не место консервам...

Бред. Я постоял рядом еще пару минут. Потом стало скучно – зашагал дальше.

Беззаботные молодые лабухи тарабанили что-то из битлов, худая девчонка в огромных солдатских ботинках, легко улыбаясь, подносила прохожим шапку-ушанку – в ней, как делегаты Коминтерна, собирались валюты разных стран.

Чуть подальше наткнулся на процессию: «Харе Кришна»

точно были под кайфом – я-то сразу понял. Звенели браслеты и колокольчики, розовые сари ярким пятном выделялись на фоне темных плащей и ветровок. Приезжие удивлялись появлению такой экзотики, иностранцы удивлялись появлению такой экзотики в Москве, и только привыкшие ко всему москвичи не реагировали, торопясь по своим делам.

Голова кружилась, окружающее заползло внутрь, переполняло. Всякий раз нахожу Москву еще более чудной и сумасшедшей. Вроде и не был всего ничего, года два. А совсем другой город. У каждой станции метро продают Библию. Читают вслух. Кто-то призывает каяться. Вступать в братство. Отречься от дьявола и его дел. Новая волна, что ли? Все вдруг уверовали? Да нет, непохоже...

...Тем майским вечером все началось: только что освобожден я из тюрьмы и шагнул по Москве, улыбаясь воле. Я – ловец фарта, вечный игрок, авантюрист по призванию и по жизни; трижды судим: мошенничество, мошенничество, наркотики. Тезка президента – Борис Николаевич, фамилия Горелов; родился в Харькове, но всем своим прошлым и настоящим связан с Москвой: сюда возвращался и битым псом, и козырным тузом. И в тот раз с легким сердцем и чистой совестью рванул в Первопрестольную, радуясь, что перелистнул страницу, где были нары, граждане начальники и мрачные хари сокамерников. Весь этот теплый день гулял я по Москве: Арбат – от Смоленской вниз, к Манежу; мимо Большого театра – к Лубянке; дальше – к Плешке и налево. Солн-

це жмурилось, жизнь улыбалась. Свернув с Покровки в Лялин переулок, я забрел в какой-то двор. И услышал.

Хаос режущих звуков обрушился сверху. Память услужливо подсунула картину: толстая тетка с белыми волосами выкручивает мне пальцы, чтобы «правильно поставить руку» на клавишах аккордеона, а я, сжав зубы, с наслаждением повторяю про себя запретное «с-сука». Всего год я оттрубил в музыкальной школе – до сих пор числю его своим первым сроком.

Я поднял голову, пытаюсь определить – откуда? На мгновение поверил, что – галлюцинация, отрывка вчерашнего прихода. Но музыка была: из окна второго этажа выплескивалась, как кипяток на кошку. Что? Скрипка. Снова. И еще инструмент. Какой? Не понять. Мелодии нет, гармонии нет, один темный ужас. Метания, боль, отчаяние, глухое и беспросветное, – вот что отчетливо слышалось мне. Вздогнул, ошпаренный, потом застыл на несколько минут. Хотелось запустить в это окно камнем – а может, подняться и узнать, что за пассажир записал нотами бред и тоску, душевную болезнь, наркотическую ломку...

Я и не думал тогда, что адская скрипка пророчила мою собственную, странную и слепую судьбу...

Минуты три стоял остоленело, потом стряхнул заразу, вспомнил: а ночевать-то мне негде.

Работающий телефон-автомат, большая редкость в эпоху коренных социальных преобразований, с трудом, но нашел-

ся; звонок, другой, третий; знакомые, друзья, бывшие любовницы; варианты нарисовались – только в путь. Можно было пожить у Алика – чеченцы народ гостеприимный, но там и без меня тесно. Отчего-то хотелось мне побыть одному. Знай я тогда, чем обернется решение поискать ночлег, остался бы на улице.

Но – выбрал. Пересеклись с Юриком у метро – перекинулись парой фраз – вот ключи, Боря, это мой бывший офис, только позавчера съехали, пока свободно. Ему, как всегда, было некогда: по-быстрому сунул мне сверток «со всем необходимым» – и побежал дальше. А я отправился на улицу Вильгельма Пика, станция метро «Ботанический сад». Вот и он – дом четыре, «помещения под офис», бывший Институт марксизма-ленинизма.

Уже перед самым входом в большое серое, с колоннами, здание я притормозил, прочувствовал ситуацию – пустили жигана в мавзолей пересидеть. Виделась мне в этом какая-то справедливость: двадцать лет назад ленинизм катапультировал меня из кабины честной жизни, а теперь пусть подвинется – я заночую.

А было так: пятый курс Харьковского университета, весна с запахом сирени. Тогда мы собирались в общежитии – своя компания, «три тройки», все в дыму; курили до одурения – кто-то «Шипку», девицы – входившие в моду «Родопи» и «Варну». Жаркие поцелуи на кухне – и жаркие беседы о высоком: так было принято – бухать, но интеллектуально, под

разговоры. И была моя фраза: если в работе Ленина слова «первичная партийная организация» заменить на «преступное сообщество», а «партийная касса» на «общак», то получится исчерпывающее руководство для воров. Смеялись...

Говорят, с последнего курса не выгоняют – ерунда: пинком под зад – за «антиобщественное поведение» – под крылышко к дяде Паше-соседу. А он был – вор, даже не так – Вор, с большой буквы. Его весь район знал, уважал и боялся.

Как наяву слышал я его голос – усталый, хрипловатый: «экспроприациями, Боренька, занимаются пролетарий и колхозник. Вор берет, потому что он этого хочет. Настоящий вор не возьмет последнее». Рассказывал: в войну хлебные карточки крали не воры, а порядочные граждане – по причине голодного желудка, потому что «сознание, Боря, царствует, но не управляет». Управляет стая, она и защищает, но у воров – не ограничивает. И общак не партийная касса, потому как не уходит в партийные распределители... Топорщились седые усы; над впалыми щеками, вокруг глаз, расходились глубокие морщины. Взгляд у него был тяжелый, цепкий – внутри ни зла, ни добра, одно спокойствие. Даже грозил и наказывал он, не меняясь в лице – но это увидел я гораздо позже. И – не боялся. Ни сесть, ни потерять – ничего не боялся. А еще – любил повторять время от времени: если бы богатые могли нанимать нищих умирать за них, нищие бы хорошо зарабатывали...

Дальше – как положено: засосала опасная трясина. Но –

пусть, я себя не жалел; я был одиночкой; к стаду не прибился – и славно.

Сумрак в коридорах, кабинеты заперты – рабочий день давно закончился. Не считая охранника, на этаже никого. В общем, устроился уютно – на забытом диване в пустой комнате, укрывшись пальто. Лежал, курил, думал. Все пытался поймать за хвост странную закономерность – ту волну, что накатывала и бросала меня на густо заселенную тварями землю, чтобы я всякий раз тонул в прибрежном дерьме.

Не сказать, что неудачник, – нет; и карта, бывало, шла, и фишка ложилась, как надо, – только вот финал всегда был одинаков: стоять, руки за голову. Сначала – как у всех: вы арестованы. Это потом уж примелькалась операм моя рожа, стали узнавать, обращаться по имени – зауважали. Тоже нюанс, очень, кстати, интересный: никогда не помогал следствию, а сроки получал минимальные. Может, не так все и глухо? Может, хранит меня судьба – в тех пределах, что я ей обозначил? А если бы выбрал я иную дорогу – тоже хранила бы? Только по-другому, но тогда – как? Вопросов накопилось слишком много, искать ответы насухую было бессмысленно; я затушил сигарету и уснул.

Встал наутро с тяжелой головой и плохим настроением – всю ночь за мной гонялся троллейбус. Снилось, что я в инвалидной почему-то коляске пытаюсь от него уехать – и никак: вот он, все ближе и ближе, и ни одного переулка рядом.

Умылся в туалете на этаже, набрал в чайник воду, на об-

ратном пути заметил: несколько кабинетов открыты – все, закипела работа в стране дураков. На всякий случай поздоровался со встреченной в коридоре уборщицей; она не ответила, глянула злобно. Сразу понял: отсюда жди неприятностей; тут же себе возразил – да и черт с ней. Все равно оставаться тут надолго резона нет.

После завтрака – хлеб, шпроты, чай – стало веселее; захотелось позволить себе то, чего давно уже было нельзя: поваляться с книгой и сигаретой. Достал коричневый с золотыми буквами томик – фантастика; расположился читать – в далеком будущем полиция сжигает книги, а книголюбы уходят в партизаны. И тут в дверь постучали – негромко, интеллигентно, но настойчиво. Я крикнул: «Войдите!», вскочил с дивана. Дверь открылась, навстречу мне шагнул невысокий полноватый мужчина: высокий лоб, благородные седины, два подбородка, с прищуром глаза. Гораздо позже, общаясь с ним регулярно, стал я замечать во взгляде хитрость и лицемерие – точно грязное дно вылезало; тогда же увидел только умного и наверняка образованного человека, похоже, из номенклатуры. Он поздоровался:

– Доброе утро. Президент Илионского фонда Константин Киприадис. Мой офис напротив. А вы – новый арендатор? Юрий, насколько мне известно, съехал...

Я стараюсь не врать без необходимости – а тут бояться и стесняться мне было нечего, поэтому ответил честно:

– А я его друг. В смысле – Юрия. Мне ночевать негде, так

что он дал мне ключи, пустил сюда. А зовут меня Горелов, Борис Николаевич, – и я протянул ему руку. Про себя заинтересовался – ответит ли президент рукопожатием бомжу. Ответил. Но как-то машинально, думал же о чем-то своем. Глянул вдруг на мою книжку, зачем-то спросил:

– Это вы Брэдбери читаете? И что же – нравится?

Я слегка удивился, но ответил:

– Да ничего так... Идея неплохая.

– Это – какая же? Книги сжигать? – спросил президент.

Тут я на минуту запнулся, потом вспомнил вчерашнего арбатского святошу и бросился объяснять:

– Ведь в начале было слово – так? Все начинается с книг.

Они поселяются в умах, начинают прорасти изнутри, и, в конце концов, воплощаются человеческими действиями. А если посмотреть на результат – очевидно ведь, что ничего хорошего это слово и эти книги не принесли. Так что – сжигать однозначно...

– Мысль интересная, слов нет, – оживился президент, кивнул одобрительно. – Однако, к сожалению, не новая. Был, знаете, такой император в Китае – Шихуанди; прославился постройкой Великой стены и сожжением всех книг, что были до него. Может, и он пытался таким вот образом уничтожить...

– Во! – Этот факт меня почему-то ужасно возбудил. – Во-во! Надо исключить провокацию. Стереть память, уничтожить образец, убить прошлое, и тогда люди смогут начать

с чистого листа... На свободу – с чистой совестью... Я уверен, – добавил я в порыве вдохновения, – что он и стену построил затем, чтобы в Китай не попали новые книги.

Президент хмыкнул – то ли сомневаясь, то ли соглашаясь. Спросил вдруг:

– А вы, Борис Николаевич, кто и откуда, уж простите за нескромность? Чем занимаетесь?

Я и тут не стал темнить, сказал вежливо:

– А заниматься мне пока нечем – я, видите ли, несколько дней назад освобожден из мест лишения свободы. Сейчас, так сказать, в поиске.

Глаза его изменились – но не так, как я ждал: в них не появилось ни страха, ни брезгливости, ни даже жалости; ничего привычного не мелькнуло. Взгляд стал цепким, исчезла профессорская рассеянность.

– А за что сидели, если не секрет, конечно?

Маленький, едва заметный шажок он сделал ко мне – ему действительно хотелось знать. И я рассказал – вкратце, без уточняющих деталей. А потом он спросил еще – кажется, что я делал до зоны, где учился, откуда сам.

Очень уже давно не задавали мне таких вопросов просто так, по-человечески, из любопытства. Кому надо – и так знали. А спрашивали чаще всего люди в форме, заполняя протокол. В общем, я стал рассказывать. Не то что «Остапа несло» – просто вдруг захотелось.

Кивок. Другой. Промельк понимания. Взгляд, еще. Я го-

ворил. Он слушал. Я жестикулировал, ходил по комнате, повышал голос. Он стоял прямо, потом присел на стул; молчал. Что-то устанавливалось, прорастало; словно щупальцами тянулся ко мне его интерес, а мои фразы цеплялись за пестрый пиджак и дорогие запонки, за странную греческую фамилию и сжатые тонкие губы. А интерес был – я это ощущал, слышал – он бился и нарастал, словно тяжелая кровь внутри исколотой вены. Помню еще, как в разгар моего повествования закрипела дверь – но никто не вошел; сквозняк, наверное, – ничего, я прикрою. Он встал, закрыл дверь и – опять вдруг – задал вопрос:

– Скажите, Борис, вам ведь нужна работа?

Работа? Мне? Не факт. Мне нужна была цель – это да, это требовалось незамедлительно. Что же до лямки... С другой стороны, – быстро рассудил я, – это ведь на время, что бы он ни предложил – уборщиком, курьером, грузчиком. Почему нет? Жить-то по-прежнему было негде – и черт его знает, когда нарисуеться новый в судьбе поворот; я рискнул:

– Нужна. А вы хотите мне что-то предложить?

– Почему бы нет? В наш фонд пойдете работать?

– Кем? И что делать, какие обязанности?

– Ну, кем – это мы решим; если для вас важна должность, придумаем. А обязанности... Разные. По сути, будете моим референтом. Заместителем, так сказать.

Вот это да! Я чуть было вслух не сказал: вот это да! Удержался, спросил только: за что, мол, такое доверие?

– Вы мне нравитесь, – просто ответил президент.

Выйти на новую работу я должен был через два дня. Договорились еще, что до аванса жить я буду пока здесь же.

...Почти весь оставшийся день гонял я в голове – туда-обратно – непонятный наш разговор. Придумывал зачем-то другие ответы, прикидывал – а что бы на это сказал мне странный президент; разбирал малейшие его интонации, оттенки мимики, изо всех сил своих пытаюсь отыскать отгадку. По странной какой-то ассоциации вспоминался студенческий мой дружок Сенька. Он был при мне таким Санчо: непрерывно восхищался, ходил следом, как собачка, стоял за меня в очереди в столовку, писал вместо меня лекции; однажды даже пиджак почистил накануне свидания. Этот пиджак, купленный задорого с рук у какого-то спекулянта, я ему же потом и отдал.

Да, тогда, в двадцать лет, за мной можно было ходить. Можно было восхищаться. Еще бы – Борик Горелов! Отличник, твою мать, любимец преподав. И притом что гулял я жестко – помню, в течение семестра пропустил все лекции по научному коммунизму. Давалось все слишком легко. Шел, смеясь, по жизни. Рутинa, зубрежка, конспекты, нечего жрать и негде побыть с девушкой – это у других. У меня все было иначе. Схватывал на лету, соображал моментально, вечерами и ночами – своя компания, покер на деньги. Лавэ были – и вслед за ними шмотки, рестораны, дамы... Желанный гость в любой компании... Ницше цитировал...

Про сверхчеловека, как сейчас помню... А бараны, замерев, слушали. Некоторые пробовали спорить – но я выходил победителем. Я знал, что нужно для этого: в самый напряженный момент как бы невзначай бросить фразочку пообиднее, позлее... Противник теряется, запинается, мямлит, а ты – на коне... Заходил в аудиторию – вся группа оборачивалась. Все здоровались... Зато после того, как выперли, ни один в гости не заглянул, не спросил, как, мол, Боря, дела у тебя... Даже Сенька-пиджачник... Дядя Паша, кстати, уверял потом, что именно Сенька меня заложил. По-любому, говорил, – больше некому. Но я не верил. Да и сейчас не верю: слишком трусливым он был, мой неверный оруженосец. А кто заложил – не важно. Судьба такая. Точно так же когда-то повязали моего деда: трое суток просидел в НКВД, в предварилке, пока они разбирались, почему это Борис Горелов махнул рукой на фамилию товарища Сталина. Мать рассказывала: вроде как в своем кругу обсуждали, кто-то вспомнил Сталина, а дед возьми да махни рукой в неположенное время. Его, правда, отпустили. А через неделю – инфаркт. Потом – инвалидность. Без работы он долго так и не протянул; сдал – умер. Я почти и не знал его...

Я помотал головой, отгоняя лишнее. К чему сейчас все эти дела? О другом надо. Президент. Киприадис.

Внимание его (почему-то сразу уверил я себя в том, что он человек необычный и преуспевающий) страшно льстило; казалось, непременно должен был появиться в моей жиз-

ни кто-то могущественный, сильный, умный – и способный, наконец, оценить меня по достоинству. Уверенным маршевым ритмом отбивалось внутри: разглядел! Понял! Признал! Дрожью в кончики пальцев кинулась лихорадочная жажда деятельности: доказать, что не зря, что он не ошибся во мне, – короче, горы свернуть прямо сейчас. Пару раз, правда, попыталось сунуться в мозг змеиным жалом сомнение; зашипело: не верь; что-то не так; не к добру. Я мысленно отбросил пресмыкающееся, задушил обеими руками.

Вдруг показалось, что кто-то наблюдает за мной из черного коридора; я обернулся в чуть приоткрытую дверь. На мигглянула на меня скалящаяся физиономия и пропала. Я бросился к двери, распахнул ее – нет, никого. Вернулся, закрылся на ключ, попытался закурить. Сигарета выпала и укатилась под стол. И я почувствовал – не то что страх; какое-то беспокойное раздражение. Необъяснимое – такое же, как и все, что случилось со мной меньше чем за сутки...

И тут осенило. Конечно, так и есть! Всякий раз после винта бывает и сумрачно, и тяжело. Ничего сверхъестественного. Я однажды прочитал в какой-то статье про «фантомные боли» – так это они! Укола не было, а отходняк был. Повеселел – надо было лечить подобное подобным.

Поехать к Алику – там совершенно точно есть все составляющие, а за недостающими можно послать его сына или жену. Но у Алика варить придется самому – а мне почему-то не хотелось. Стало быть – к Татке Апрельской, если, конеч-

но, ее не закрыли.

Апрельская – это фамилия; а Татка Апрельская – это целое благотворительное учреждение: парикмахер, психолог и варщица, и не какая-нибудь, а одна из лучших. Долговязая, немного нескладная и худая (это уж как водится; упитанных винтовых не бывает), она была интеллигентной эстеткой: варились все в специальной посуде – «от бабушки досталась», – без тени иронии говорила Татка; готовые кристаллики выкладывались на папиросную бумагу.

Говорила она не умолкая и всегда чуть свысока, растягивая слова по-московски; как правило, – о себе, о своих «клиентах», среди которых числился чуть ли не весь столичный «бомонд» – это тоже было ее словечко, я долго не мог просечь, что оно означает, пока она не объяснила с видом утомленного превосходства.

Достал пухлую записную книгу – у каждого наркомана такая есть; нашел номер, позвонил. Татка была дома, моему звонку не удивилась. Рванул на Арбат, там она жила в старой пятиэтажке на Большом Власьевском – квартира, как и посуда, тоже была бабушкина. Старушка давно умерла, а Татка превратила двенадцатиметровую кухню с высокими потолками в винтоварню.

Ждать не пришлось – продукт был готов. Татка быстро, по-деловому, перетянула предплечье, нащупала вену.

– Ну как? Нормально? – небрежно поинтересовалась Татка.

– Ага. Более чем. Ничего, если минут десять посижу у тебя? Никого не ждешь?

– Да нет, сегодня выходной, – отозвалась она. – Вчера Ваньку Глазунова стригла. И то ему не вполне, и это не совсем. Притомил. Эстеты хреновы. Все знают, как надо, все учат. Боря, ну как так? Вот я, допустим, в театр иду, в Ленком, к примеру, – не прерываю же спектакль, не кричу с места Коле Караченцову: мол, не ту ноту взял... А они – легко. Каждый так и норовит свои пять копеек вставить...

Я усмехнулся – все эти «Коли Караченцовы» и «Ваньки Глазуновы» давно знакомы – нормальные московские понты. Спросил только:

– Тат, а он разве Ванька? У него же, по-моему, другое какое-то имя?

– Боря, Ванька – это сын Ильи Глазунова. Тоже художник. А вчера еще Виталий приезжал. Ну, помнишь, я тебе рассказывала... Скрипач. Лауреат международного конкурса, между прочим. Ты прикинь – привез мне свою бабу стричь. Где он ее нашел, в каком Зажопинске?

– Что – так плохо?

– Да ну, Борь, лимита. Зеленая кофта, красная юбка...

– Тат, я, если забыла, тоже не москвич...

– Ой, да ладно тебе, Горелов. Ты – гражданин мира. У тебя, слава богу, этой провинциальной ограниченности в помине нет. За что и ценю... Ты, кстати, скажи – сейчас-то как? Чем жить собираешься?

– Как фишка ляжет, Тат. Ты же знаешь – я не загадываю.

Я прикрыл глаза – вроде как не настроен больше общаться. Татка замолчала – очень понятливая дама. И – хорошо...

Яркие пятна заполнили пространство под зрачками: багровые, сливовые, вишневые – переливались они и выплескивались из глаз, заполняли квартиру, подъезд, улицу и город целиком.

Пережив первые минуты прихода у Татки, я вышел на улицу.

Сразу понял: что-то не так. По ощущениям, должен быть день. Над Арбатом же сгущались сумерки. Я поднял голову, увидел стремительно несущиеся друг на друга темные облака: небо опускалось, приближалось, светлый край его становился все меньше, тьма неудержимо и безоглядно падала вниз, на меня. Дикая радость охватила внутренности, я раскинул руки – и пальцы удлинились, натянулись перепонки, крыльями распластались рукава черного пальто. Тьма накрывала, ветер подхватывал; прикасаясь ко мне, становился ураганом, вырастал черной воронкой над головой, засасывал внутрь моего мозга прошлое и будущее, стискивал и мял пространство. Время потеряло звук: немота поглощала меня – не мертвое молчание, а – пустое; беззвучный крик, разрывающий слух. И вдруг – ликование обернулось ужасом, сжало горло; тьма стала густой и ворсистой, дотрагивалась до меня своим копошением, залезала в рот, в нос, в уши; давила меня, схлопывалась черной дырой. Я кричал – но зву-

ка все не было, пытался оттолкнуть шевелящийся рой, но только глубже в нем увязал; падал, проваливался в черноту и видел белую вспышку, слепнул от страшного сияния – еще больше, чем тьма, оно пугало – и пытался расцарапать свою грудь и вырвать сердце, чтобы прекратить нескончаемый этот кошмар. И тут откровением развернулось внутри: меня нет. В спирали времен потерялось «Я». Борис Горелов, авантюрист, трижды судимый, уроженец Харькова – где он? Теперь «Я» стал кто-то другой. Но кто? Мелькнуло в чужой (моей) голове: схожу с ума. И вдруг все заслонили слова – каменно-серые, водянисто-холодные, сладко-разлагающиеся, – они были Вселенной, были мной. И рядом с неизбежностью слов съеживались и черные дыры времени, и свернутые миры пространства, и потеря своего сознания; слова разъедали, будто кислота; иглой невыносимой боли проникали в сердце. От ужаса я умер.

...Ожил на Таткиной тахте – колотило меня на все девять баллов; лицо заливал пот, скрюченные пальцы шарили по груди; зубы громко стучали. Окончательно смог прийти в себя только через полчаса; за окном светало, часы показывали пять с четвертью. С помощью Апрельской восстановил хронологию: по ее словам, я вышел из квартиры вечером, часов в одиннадцать; что было потом – она не в курсе; под утро слышала внизу стоны, – я сидел возле скамейки у подъезда, изо всех сил давил кулаками на глаза. Дальнейшее понятно: пожалела, добрая душа, притащила к себе. Рассказал ей свой

глюк; она ненадолго задумалась, потом покачала медленно головой:

– Честно, Борь, я о таком еще ни разу не слышала. То, что ты рассказал, обычно не на приходе бывает, а на отходняке. А че хоть за слова-то были? Запомнил?

Слов я не запомнил.

Пора было возвращаться на Вильгельма Пика. Меня ждала новая работа.

Глава 2. Загадка

Сентябрь 1994 года

Должность называлась громко: директор дирекции Илионского фонда поддержки русской культуры. Вот так я теперь представлялся и уже подумывал о визитных карточках. Я приходил утром, точнее, приходил уже потом, когда снял наконец квартиру; в первый же месяц – поднимался со второго этажа на третий. Пил чай, читал газеты, беседовал с Константином Сергеичем – он много знал и хорошо рассказывал. Было ощущение, что в мутном, все сметающем потоке я удачно зацепился за валун и теперь наблюдаю и греюсь на солнышке.

Почему русскую культуру должен был поддерживать именно Илионский фонд, я так и не понял, но источник доходов просёк довольно быстро. Над головой была прочная крыша в лице чиновника, ответственного за оформление российского гражданства; почту Фонда заваливали просьбами о «содействии». Это содействие, с легкостью оказываемое Киприадисом, и приносило деньги – в виде «добровольных пожертвований». Кроме того, имелась недвижимость: фонду принадлежали чуть ли не все помещения бывшего Института. Как случайно обмолвился Киприадис, здесь не обошлось без помощи патриарха, которому удалось склонить «неко-

торых людей в Кремле» на сторону фонда. Весьма туманное объяснение, но одно было ясно: фонд платил копейки за аренду здания целиком, а сдавал кабинеты по отдельности и совсем по другим ценам.

Схема ничуть меня не удивила – она тогда была везде, утверждалась всеми как альфа и омега новой жизни. Укради или достань: по знакомству, дешево, бесплатно. Потом продай – баснословно дорого, с наваром в двести процентов – меньше не имеет смысла; бери чужое, называй – «мое». И – будет твоим, станет собственностью, прирастет к тебе, как кожа, и уже никто не усомнится в твоём праве. И бывшие парторги и передовики производства, отгородившись от пугливого стадного «нельзя» с его прокисшей моралью, брали, доставали, тащили, крали – кто-то легко и азартно, кто-то – нахраписто, скотски, чуть что выхватывая ствол и смакуя любимое слово «разборки».

Аутсайдеры, задыхаясь от желчи, гордились непричастностью, вспоминали золотое социалистическое время и Сталина, каждый вечер смотрели и читали непременно все новости, чтобы за ужином, догрызая курицу, злобно подытожить: ворье!

Я пытался определить свое место. Вынесло на берег, прибило – и плыть дальше вроде не хочется. Был поленом, стал мальчишкой, обзавелся умной книжкой...

Вдруг потянуло на другое. Читать, разговаривать, чувствовать себя в теме. Такой вот... отпуск за свой счет. А мо-

жет, просто повелся на красивое, гордое, звучное – ре-ферент! Помощник президента фонда!

Все люди ведутся на слова. Только не все это понимают. А я понимал: еще бы, после трех-то ходок! Любой нормальный ээк знает, чем может обернуться безответственное отношение к языку: фильтровать базар на зоне – вопрос не филологии, а выживания.

На воле, которая пока оставалась не до конца понятой и освоенной, мне нравилось слушать. Люди говорили много: в телевизоре, в очередях, в метро. Говорили по-разному: смачно выплевывали ругательства, лихо сочиняли новояз, оголтело мстили словам за свои несбывшиеся ожидания и разбитые надежды. За три года, что меня здесь не было, демократия превратилась в дерьмократию. А выборы прочно сцементировали с вышедшим из подполья на свет божий словом «пидоры»... Вот кто, скажите, пойдет голосовать после этого? В нашей стране у свободного волеизъявления, главного рычага либеральных ценностей, просто не было шансов. Я специально поинтересовался у Киприадиса – он знал английский, – с чем рифмуется слово «выборы» там, в Америке. Он немного удивился, но ответил – мол, «элекшн» рифмуется с «эрекшн»: американцев, англичан и прочих англоговорящих выборы возбуждают.

Я несколько раз пытался поделиться своими наблюдениями, но друзья отмахивались, а то и смеялись. Зря. Я представлял себе картину – я ее, откровенно говоря, почти нари-

совал – «Уполномоченный дилер беседует о мерчандайзинге с эксклюзивным дистрибьютором». Картина мне не понравилась – не выражала она той философской напряженности, что я в нее вкладывал. Но название осталось: один мой приятель выучил наизусть и во время глюков над ним думал.

Итак, два с лишним месяца трудился я на благо Илионского фонда. За это время я понял, зачем понадобился Киприадису аферист с тремя ходками. Интересовал его живо мой круг знакомых и приятелей – в первую очередь, разумеется, тех, кто только начал выбираться в легальный бизнес, превращая вчерашние «бригады» в общества с ограниченной ответственностью. Это к ним он меня сразу же и направил – договариваться о «благотворительных взносах». Киприадис получал деньги, бывшие мои корешки – налоговые льготы и реноме «меценатов»; короче, довольны были все.

Несколько раз Константин Сергеич давал серьезные поручения – например, собрать гуманитарный груз для наших соотечественников то ли в Абхазии, то ли в Грузии. Точно не помню, да и не важно. Я обошел знакомых – и пять грузовиков с едой и одеждой отправились по назначению.

Киприадис частенько заходил в мой кабинет: говорил со мной ласково и внимательно, давал читать книги. Помню, в одной рассказывалось о мифическом месте, где люди забыли названия вещей и стали крепить к предметам бумажки с напоминанием; потом забывали, что означают напоминания, – и записи приходилось увеличивать. Меня поразила

эта история, но не сюжетом – не так уж и редко люди перестают называть вещи своими именами, – а наркотическим происхождением. Только под кайфом можно было написать такое, и, судя по всему, приход – в той или иной степени – был знаком всем великим писателям. Многие из них и дни свои закончили, как нам, творцам другой реальности, и положено – самоубийством или сумасшествием... Представил себя вдруг в Ленинке, в огромном зале, работающим над диссертацией... Тема... Ну, типа так: «Сортовой каннабис и мировая литература»...

Размышления прервал Киприадис. Как всегда, ухожен, хорошая обувь, одеколоном разит избыточно – но в целом приятно. Усмехнулся:

– Ну-ну, Борис Николаевич... Опять не при делах? Стыдно – с таким-то именем...

– Это вы зря, Константин Сергеич, – отозвался я, не вставая, – с Ельциным мы только зовемся одинаково. А разница между нами серьезная: он пьет, а я колюсь...

Но он уже отвлекся от проблемы занятости сотрудников – и пошел рассуждать о творческих псевдонимах, о том, как они меняют судьбу. Загнул что-то насчет «влияния имени на личность»...

Я возразил:

– Вряд ли, Константин Сергеич... Вы, к примеру, можете назвать меня не Борей, а Мишей – что изменится? По сути – ничего...

– Это, Боря, Шекспир в свое время уже сказал: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет...»

– Ну, для этого Шекспиром быть не надо. На зоне я по-другому слышал: Иван останется Иваном, хоть долбани его диваном.

Киприадис мелко рассмеялся. Потом добавил, посерьезнев:

– И все-таки, ты знаешь, я склоняюсь к мысли, что все не так просто. Господь не зря потратил целый день только на то, чтобы дать сотворенным существам имена. В первобытных культурах имя считалось священным – где-то свое имя скрывали, чтобы труднее было навести порчу...

– Константин Сергеич, и вы верите во всю эту муть?

Он вздохнул коротко:

– Боря, ну почему сразу «муть»? Вот ты, я знаю, Библию не читал – а ведь на страницах священной книги Господь ни разу не открывает людям своего имени. И когда Моисей задает прямой вопрос – мол, как к тебе, Боже, обращаться? – он получает странный как минимум ответ: я есмь Сущий. Что в буквальном переводе звучит так: «я – это я»...

– Свифт, – заметил я.

Киприадис удивился:

– При чем тут Свифт?

– Это он в старости, боясь сойти с ума, повторял все время: «Я – это я». Вроде как напоминал самому себе. Может, и у Бога были те же мотивы? Или, например, Господа на самом

деле звали Джонатан Свифт?

– Богохульник, – усмехнулся президент. – На эту тему, между прочим, высказывались многие великие умы. Самое интересное предположение звучало так: слово «Я» может быть произнесено только Богом... Ладно. Если тебя Библия не убеждает, возьмем Тору. Там все имена делятся на три вида: «пустые», «священные» и «запретные». Тоже не просто так...

– Зашибись, – согласился я. – Ну а в Коране что есть на эту тему?

Киприадис посмотрел на меня сочувственно, но в то же время заинтересованно.

– С логикой, Боря, у тебя все в порядке, – похвалил он. – А вот в знаниях – пробелы. В Коране перечислены девяносто девять имен Аллаха – все не помню, разумеется, но вот некоторые: Милостивый, Милосердный, Отзывающийся, Знающий, Достославный... ну и так далее...

– О-па! Так получается, Константин Сергеич, что мусульманский Бог круче еврейского. Еврейский ни одного своего имени не знает – а мусульманский знает целых девяносто девять. Что, кстати, тоже странно: если Господь Милостивый, он же должен быть и Беспощадным, если – как вы сказали – Отзывающийся? – значит, должен быть и Глухим. Иначе половинчатый какой-то Аллах получается, незавершенный.

– Ох, Боря, что же за голова у тебя... – недовольно протянул Киприадис. Я пожал плечами:

– Голова как голова. Хотите напоследок анекдот в тему расскажу?

– Давай рассказывай, – обреченно согласился президент фонда.

– Привозят в дурку пациента. Врач спрашивает: «Ты у нас кто?» Тот ему: «Наполеон». Врач говорит: «Прекрасно, будешь в одной палате с Суворовым и Кутузовым». Больной в ответ: «Нет, доктор, что вы! Мне к ним нельзя!» Врач: «Это еще почему?» – «Ну, как же! Они – генералы, а я – торт»...

Смеялся он долго...

...Про Свифта я вычитал в одной из книжек, которых здесь хватало – в шкафах, на стеллажах, а то и на полу, почти во всех кабинетах фонда. На мой вопрос «Откуда?» Киприадис небрежно пожимал плечами: бывшая библиотека Института марксизма-ленинизма.

Среди книг попадались старые, в кожаных переплетах, со вставками тонкой папиросной бумаги. Мелькнула мысль вырвать и отвезти Татке, она наверняка обрадуется. Не смог. Все-таки детство мое пришлось на социалистическую эпоху, когда за порванную книгу могли исключить из октябрят-пионеров, а уж страшнее этого ничего в жизни не было.

Подозрения относительно Киприади́са, его ко мне интереса и моей работы постепенно развеялись: все шло ровно, зарплату (немаленькую) платили вовремя. Иногда, само собой, скучал и подумывал замутить что-нибудь интересное, но быстро успокаивался. Да и обстановка не располагала:

в исторические анналы всего месяц назад был вписан арест Мавроди. Офис его – красивый, на Варшавке, – штурмовал ОМОН. Как раз в середине августа я наткнулся – в самом центре, у Белого дома, – на разъяренную толпу вкладчиков «МММ»; в новостях потом сообщили, что было их около четырех тысяч. Старые знакомые, с которыми я, хоть и нечасто, но виделся, рассказали: семнадцать КАМАЗов для вывоза налички Мавроди, на самом-то деле выделили в Кремле...

...Однажды в начале сентября я заглянул в кабинет президента – и наткнулся на посетителя. Видимо, это был не случайный человек – к Киприадису он обращался на «ты», тоном фамильярным и слегка начальственным. Как только я приоткрыл дверь, президент замолчал – резко, словно давая понять собеседнику, что при мне продолжать не стоит. И я присмотрелся к новому человеку внимательнее. Был он невысокого роста, с лысиной и напоминал бы добродушного колобка, если бы не его жесткий взгляд и неприятная ухмылка. Свинячьи глазки хитро блестели. На меня он глянул мельком, обронил презрительно:

– А-а-а... Директор дирекции...

Я вскинулся было ответить, но Киприадис остановил меня:

– Борис, извини, ты не мог бы зайти попозже? Я сейчас очень занят.

Я кивнул, вышел. Почему-то тон лысого господина, то, как выговорил он название моей должности, чрезвычайно

меня задело. Как будто знал он обо мне нечто такое, что позволяло складывать губы в такую вот ухмылку, тянуть это «а-а-а», смотреть, точно снимая мерку. «Директор дирекции», – крутилось в голове. Потом на ум пришло: «администратор администрации», «руководитель руководства». Работа вдруг потеряла всякий смысл, хоть я и понимал, что глупо так реагировать на случайные слова какого-то мудака. Как говорил Ильич, жить с Киприадисами и быть свободными от них нельзя...

Президент заглянул ко мне спустя полчаса. Показалось мне – или впрямь в неадеквате? Уж не понизили ли его до охранника? Видно было – старается вести себя, как обычно, но руки трясутся, глазки бегают, галстук зачем-то поправляет... Боится – кого?

– Э-э-э... Борис... Ты не мог бы сделать мне большое одолжение? Нужно срочно отвезти вот это, – он вынул из-за спины непримечательный сверток, – одному человеку. Сможешь?

Проглотив фразу «Конечно, отвезу, я ведь курьер», кивнул молча головой. Киприадис бережно положил сверток мне на стол, написал адрес: «Дом художника на Крымском Валу, букинистическая лавка, Владимир Мингьярович». Я удивился, перечитал. Вот так отчество. Монгол? Суется и беспокоясь, излишне подробно рассказал, как найти в ЦДХ эту самую лавку; еще тридцать три раза повторил, что сверток надо беречь, – кстати, надо найти сумку – я найду – нет,

уж лучше я сам – после чего выбежал и через несколько минут вбежал обратно с черным пакетом в руках. И я поехал на Крымский Вал.

В Москву пришла осень. Чахлые пасынки большого города укоризненно желтели листьями; если погода была ветреной, жаловались шорохом ветвей; все остальное время молчали, прятались за домами. Роль деревьев и птиц брали на себя дома и машины. Раньше темнели крышами каменные громады; автомобили по утрам просыпались с другим, не летним звуком – заводились не сразу, а после долгого прокашливания, словно старик, поперхнувшийся «Беломором». Мягче ходили по асфальту дворницкие метлы, поднимая упавшие листья. В Москве обычно не замечаешь времени года, – такой уж он, мой город; вдруг очнешься, оглянешься – ба! Да ведь уже зима на подходе! Укутаешься потеплей и летишь дальше.

Интересное это оказалось место, садик около Дома художника. Много слышал, но прежде бывать не приходилось. Это сюда свозили ненужные памятники – так они здесь и стояли, бесчисленные Ленины и один Дзержинский. Я мельком осмотрел их – поразился стремлению человечества увековечить свои блуждания непременно в камне – и пошел прочь от свалки затертых образов и устаревших понятий.

Нужный магазин я нашел быстро; косая надпись «Лавка букиниста» красовалась почему-то с края. Я вошел. Помещение ломилось от книг: старинных, больших и маленьких,

среди них встречались брошюры и атласы. Даже игральные карты здесь были – с необычными рисунками. Мне бросился в глаза шут, подвешенный за ногу. Пахло странно. Маслом? Специями? Цветами? Продавца я не увидел, зато услышал обрывок беседы – из двери в подсобку:

– ... Вам надо книги писать, – с ласковым превосходством прозвучал густой, самоуверенный голос.

– Нет, писать – это ваше, – ответил совсем другой, негромкий и чуть дребезжащий. – А я не автор...

– А кто же, если не секрет?

– Я, – тут голос сделал паузу, словно подбирая нужное, – я – Комментатор.

На этой интересной точке собеседники выдвинулись из своего укрытия и увидели меня. Первым вышел самоуверенный тип в дорогом кожаном пальто, красном шарфе с кричащим лейблом – холеный, седоватый, глаза... Посмотрел я ему в глаза. И тут же всем своим нутром понял: а ведь он сидел. И – не пятнадцать суток за хулиганку, а основательно гостил у хозяина. Он мельком на меня глянул и – тоже признал; а я стоял, как дурак, с нелепым кульком в руках; он усмехнулся, едва заметно кивнул, повернулся к продавцу:

– Ладно, Владимир Мингьярович, я пойду, пожалуй, из редакции вам позвоню.

– Хорошо-хорошо, – улыбаясь, ответил тот, – удачи вам.

Тип в шарфике вышел, и Владимир Мингьярович, продавец антикварной лавки, повернулся ко мне.

Полностью выбритый череп, какая-то потертая блуза (художник?), правой рукой перебирает деревянные четки (я видел почти такие же, только мельче, у чеченцев). Ростом он был невысок – чуть не на голову ниже меня. Возраст – под пятьдесят? Меньше? Непонятно. Глаза узкие – киргиз? Казах? Возле правого уха шрам. Вот с кем на дело идти нельзя категорически – не человек, а сплошь особые приметы. Внезапно дошло, что не только сам неприлично пристально разглядываю киргиза (или все-таки казаха?), но и он смотрит на меня в упор, и выражение лица у него...

Странное как минимум для первой встречи. В глубине зрачков изумление – потрясение даже; внимание, недоверие – то, что обозначается обычно словами «не может быть!» – и тут же – готовность признать это невероятное и согласиться с ним. Узнал меня? Вряд ли – мы никогда не встречались. Или?.. Да нет, точно – не встречались, я бы запомнил. Но – на всякий случай осторожно уточнил:

– Мы с вами где-то виделись?

Он улыбнулся; на секунду прикрыл глаза – будто смигнул необъяснимое, спокойно ответил:

– Да, возможно. Я, по-моему, видел вас в офисе у Константина Киприадиса? Нет?

– Ну, вообще да, я там работаю. Вы – Владимир Мингярович?

– Угадали, – он протянул руку. – А вас как зовут?

– Горелов Борис Николаевич, – в тон ему назвался и я. –

Директор... дирекции...

Я замолчал, вновь вспомнив улюбка из кабинета Киприадиса.

Мингьярович посмотрел внимательнее, сказал вдруг:

– У основателя одной из самых известных в мире семей – Козимо Медичи – был официальный титул «Отец Отечества». Тоже странновато звучит, согласны?

Мне понравилось это вопросительное «согласны?» – он точно подставлял следующую ступеньку к разговору, протягивал крючок, чтобы надеть на него рыбку-ответ.

– Да, наверное, – осторожно сказал я, надевая рыбку. И вдруг спросил – очень уж хотелось проверить свою догадку: – Владимир Мингьярович, а кто этот человек, с которым вы говорили?

– О, это известный человек, – ответил продавец-Комментатор. Мне показалось – или все же в его тоне мелькнуло пренебрежение? – Обозреватель одной радиостанции.

– Он ведь сидел?

Вопрос, разумеется, был наглым – но он ответил.

– Да. А почему вы спрашиваете?

– Хотел проверить, – сказал я. – Выходит, угадал.

– Да, – он кивнул головой. – Угадали. Но, видите ли, в нашей стране, согласно статистике, отсидели почти семьдесят процентов населения. И – поверьте – среди зэков было немало умнейших людей...

Я слышал об этом. Еще в первую мою отсидку – в Красла-

ге – рассказывали о «режиссере Сереже»: его посадили за «изнасилование члена КПСС»; о поэтах, писателях; один из них так достал лагерное начальство постоянными письменными жалобами на «нарушения социалистической законности», что его отправили за границу. Тюрьма любит легенды. «На стене тюремной сердце и стрела, горькая легенда до меня дошла...» Лично я заинтересовался только одной. Рассказывали, будто бы, скрываясь под чужими именами, бедовала в лагере до самой смерти Фанни Каплан, погубленная пролетарской бдительностью...

Некоторое время Комментатор молча смотрел на меня. Потом улыбнулся:

– Заболтались мы с вами, Борис Николаевич!

– Можно просто Борис, – поспешно перебил я.

– Хорошо, Борис, – легко согласился он. – Вы мне кое-что привезли как будто...

– Да, конечно, – я протянул ему пакет, он взял его – бережно. Еще раз взглянул на меня – с пристальным, пронзительным вниманием, спросил:

– Борис, а вы перед тем, как в Фонд устроиться, где работали? Если не секрет, конечно...

– Не секрет. Лыжи вострил.

Он поднял бровь:

– Извините?

Я объяснил:

– Сидел я, Владимир Мингьярович. В лагере был. Работал

на тамошнем производстве – лыжи мы делали.

– Вот оно что, – с каким-то странным пониманием протянул Комментатор.

– А вы почему интересуетесь?

– Да так, знаете, что-то в вашем лице показалось мне...

– Уголовное?

– Нет, напротив. Я бы сказал – драматическое. Что-то есть в ваших чертах... На литературного героя похожи...

– Это запросто, – отозвался я. – Даже знаю, на какого. Бармалей Чуковского.

Комментатор рассмеялся:

– Почему Бармалей?

– А я в детстве жил на Бармалеевой улице – это в Харькове...

– Да вы что! Там есть такая улица?

– Есть. Говорят, раньше там жил англичанин – Бромлей какой-то.

– Англичанин... И – тяжелые лондонские туманы? И – мосты над Темзой?

– Это вы о чем? – не понял я.

– Да так, – улыбнулся он. – Ассоциации. Англичанин... Лондон... Туман... Темза...

– А-а-а, – протянул я. – У меня они другие. Чуковский, стихи, детство, как я рад, что поеду в Ленинград, – а потом драка в школе и родителей к директору.

– Ух ты, какая цепочка, – удивился Комментатор. – До

Ленинграда – все понятно, а – потом?

– А я, знаете, был настолько уверен, что Бармалей – это реальный персонаж, который жил на нашей улице, в моем доме с решетками, а потом уехал в Ленинград, что доказывал это до хрипоты. Во дворе пацаны верили. А в школе начали смеяться. Пришлось... защищать свою точку зрения...

Владимир Мингьярович искренне расхохотался:

– Борис, если нам еще доведется встретиться, обязательно подарю вам старое издание Чуковского. С первыми рисунками. Чтобы вы наконец познакомились с вашим Бармалеем поближе.

Он замолчал. Я попросил разрешения посмотреть книги.

И правда хотел глянуть – но была и еще одна мысль. Мне почему-то приспичило узнать – что же такое я привез этому Комментатору от Киприадиса? Что могло быть внутри? Может, он все же откроет пакет – надо просто чуть подождать?

Но он убрал его куда-то в прилавок.

Книги стояли на полках как попало – иногда тесно прижавшись одна к другой, иногда развалившись привольно, чуть приоткрыв страницы, заманивая. Я аккуратно перебирал толстые и тонкие томики, разглядывал корешки и обрезы – встречались золотые и серебряные – читал, где мог, названия. Из всего, что увидел, заинтересовал меня только старый, 1903 года издания «Граф Монте-Кристо» на русском языке – и то исключительно с точки зрения внешней красоты: темно-синяя кожа на обложке, удивительные иллюстра-

ции. Книгу я читал; ее все эки читают – и все на первом сроке.

Потом мы пили чай. Чай у него был странный – светло-желтый, без сахара, вкусом больше напоминавший какую-то траву, вроде смородиновых листьев или чабреца – но вкусный. Он рассказывал о себе, но немного. Оказалось, не киргиз и не казах, а китаец, но в Москве живет с детства, поэтому по-русски говорит хорошо, без всякого акцента.

Я вспоминал тоже – почему-то все время Харьков; мой дом – двадцать первый по Бармалеевой, с решетками на балконах и маскаронами в виде львиных морд. Вспоминал пересечение Рымарской и Бурлацкого спуска, где берет начало Университетская улица...

Комментатор слушал внимательно, с интересом, спрашивал, уточнял; очень понравилось ему происхождение еще одного названия – района Москалевка: не от «москалей» вовсе, как считали некоторые, а от двух еврейских имен – Моська и Левка. Район был воровским; пока отцу – главному инженеру фабрики «Красный водник» – не выделили квартиру, мы жили там; сосед дядя Паша был маминым любимцем – культурный, сразу видно, – говорила она до того самого дня, как бабка-горбунья из второго дома не объяснила, кто он такой и чем занимается. После этого мать, потрясенная до глубины души, запретила мне ходить к дяде Паше в гости, а сама здоровалась с ним сквозь зубы. Я-то, конечно, быстро наплевал на ее наказания и поучения – и почти каждый

день после школы бежал первым делом к нему: там был телевизор, всегда полно вкусной еды; там я научился играть в карты...

Так и сидели – почти по-семейному; посетителей не было – и тут я снова услышал это...

Опять – ту же самую уродливую музыку без мелодии; странно, что я ее узнал. Но ведь узнал, это точно была она, доносилась откуда-то рядом, видимо, из соседнего помещения. Наверное, я вздрогнул, потому что Комментатор оборвал свою фразу на середине, взглянул на меня внимательно, сказал:

– Что, пробирает?

– Да, жутковато, – признался я. – Что за музыка, не знаете?

– Альфред Шнитке, Concerto Grosso. Первый концерт.

Я почему-то почувствовал облегчение: факт, что у терзающих скрипачек был автор и название, странно успокоил. Объяснять ничего не стал – но Мингьярович меня понял: не спрашивал, не смотрел, молча допивал свой чай.

В лавку вошел тощий студент в наушниках, за ним – дама с болонкой на руках. Владимир Мингьярович поднялся им навстречу – показывать, улыбаться, продавать. Я попрощался и вышел. Жаль, не получилось все-таки посмотреть, что в свертке...

Захотелось пройтись. Поколебавшись с минуту, отправился по Крымскому мосту пешком. Где-то на середине за-

мер: стоял, глядя то на мультяшный Кремль, то вниз, на воду; а то рассматривал первые пламенеющие листки, что, покачиваясь в своем меланхоличном принятии смерти, сами стремятся под ноги.

Я простоял на мосту сорок минут – без сожалений, беспокойства, без мыслей; я почти растворился в прозрачном воздухе, в слабых позывных прохладного ветра; ощущал себя разлитым в гудящей и движущейся всеобщности – я был опорой моста и черной лужей в асфальте, был теплым лучом солнца и густой шапкой наползающей дымки.

Откуда вдруг появился он – холодный, мокрый, кашляющий – густой, совсем не московский даже туман? Я потряс головой, протер глаза, захотелось вынырнуть в прежнее прозрачно-осеннее... Мутновато-белая пелена послушно уходила, опускалась вниз – к земле, к ногам. Вокруг плодились новые звуки, чужие краски – я больше не узнавал свой мир. Мост остался мостом – так ли? По обе его стороны лепились теперь деревянные дома, лавки, лачуги; наверху, над головой, встречались их крыши; пахло всем на свете – рыбой, мясом, овощами...

И была ночь...

...И ночь вдруг пронзит новый выкрик: «Король умер!» И раздастся хохот, отзовется кто-то рядом: «Да здравствует король!»; где-то опять – в который уж раз за последние полчаса – затянут все ту же песню. С верхнего этажа выплеснут на улицу помои, из открытого окна донесется оже-

сточенная ругань: хозяин, сдающий чердак желающему поглядеть на завтрашний въезд Его Величества, заломил чересчур высокую цену...

Люди, живущие здесь, на Лондонском мосту, – особый народ; даже говор у них иной. Они привыкли смотреть на свой мост как на отдельный город, истинное сердце Англии; мне приходилось слышать, что считают они Лондон и Саутворк не более чем пригородами. Обитатели моста составляют корпорацию. Здесь, на одной улице длиной в пятью часть мили, каждый знает все о каждом. Здесь существует своя аристократия – почтенные старинные роды пекарей, мясников, по шестьсот лет торгующих в одной лавке. Местное население спесиво и невежественно. Они, кажется, воображают, что нескончаемое шествие, движущееся через мост день и ночь, гул криков, ржание коней, мычание коров и вечный топот – единственная в мире ценность, а они – хозяева, единные владельцы этой ценности. Это и понятно – нет в Лондоне места, откуда было бы лучше видно любое торжество – будь то въезд короля в город или зрелище...

...Внизу, на Темзе, то же веселье: переговариваются и смеются в лодках, громко восхваляя нового владыку Англии. Пройдет мимо городская стража, расталкивая гомонящую толпу, не обращая внимания на завязавшуюся драку. Простоволосая беременная баба потащит упирающегося пьяного муженька домой, а он заплетающимся языком гово-

рит, что сына должно назвать Генрихом – никак иначе. В таверне какой-то оборвыш, вообразивший, как видно, себя менестрелем, нараспев читает стихи собственного сочинения – все о том, какой прекрасной станет жизнь при новом короле, Генрихе VIII...

Мне тоже вдруг станет весело; точно карнавал закружит в голове мысли, заставит слова сложиться в рифмы; и я произнесу первую строчку вслух: День этот – рабства конец, Этот день – и начало свободы; Он и печали предел – радость с него началась...

И я поспешу домой – завершить то, что начал так удачно; сложить стихотворную оду новому царствованию, которое – верю в это всем сердцем – ознаменуется добрыми и славными деяниями, подарит Англии восходящее солнце свободы и непременно затмит ужасы минувшей эпохи...

И точно в ответ на мои чаяния, вдруг сверху, с одной из опор моста, упадет и покатится полуразложившаяся голова. Дай Господь, чтобы отныне Лондонский мост не использовался для демонстрации казненных, для устрашения непокорных...

Я подниму глаза – и увижу отсюда, как на той стороне возвышается Белая башня лондонского Тауэра...

– ...Эй, ты, смотри, куда прешь!

Я вздрогнул. Очнулся. Злобный лысый мужик уже бежал дальше – кажется, я нечаянно его толкнул...

Я – на мосту. На Крымском мосту. Туман пропал, Кремль на месте, до метро – пилить и пилить. Холодно.

Интересное ощущение. Такого со мной еще не было. Глюк – без винта. Да какой подробный! И – вот что еще: я был точно и внутри и снаружи одновременно. На Лондонском мосту. Видел, как соскочила с какого-то кола распухшая, синяя, с высунутым языком голова. Фу, мерзость! Потом – Тауэр.

Тауэр. Пятый класс, английский язык. Сейчас – музей; когда-то – тюрьма.

Это все Комментатор.

«Туман... Лондон...»

Навеяло, блин...

Глава 3. Предательство

Октябрь 1994 года

Месяц выдался богатым на события – правда, не мои, а исторические. Три дня назад опять уронили рубль – курс рухнул сразу на штуку. Первым делом мероприятие обозвали. «Черный вторник»... Ну, что ж... Оптимистичнее, чем «кровавое воскресенье». Броское название вроде как одомашило катастрофу. Люди будто утешались, находили в двух простых словах моральную компенсацию. На фоне происходящего даже отставка министра финансов и какого-то еще министра не вызвала подобающего ажиотажа. Позавчера специально купил шесть разных газет, проверил: точно, про «черный вторник» написали все. Три – в заголовках.

Странная вещь – время. Раньше думал, как учили: поступательное движение. Камень, пущенный из рогатки: пулень – и летит. А на самом деле – гоняет оно по кругу, как мальчишка на велосипеде в маленьком дворике. «Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте десять миллионов». Ильф и Петров. Чем не «черный вторник»? Меня, к счастью, вторник не задел – только что полученная зарплата лежала зелеными бумажками в ящике стола.

У ларька возле дома выстроилась очередь – не потому что всем вдруг понадобились сигареты и жвачка – просто поку-

патель начал обсуждать «вторник» с продавщицей, подключился другой, а потом третий; короче, поход за «Мальборо» грозил перерасти в митинг. Я плюнул, отошел и поймал такси; был уверен, что в метро сегодня ехать не стоит – обязательно придется выслушать все то же, с незначительными отклонениями и незатейливым матом.

Шофер попался молчаливый – большая удача. Только вот ехали недолго: оказалось, Тверская перекрыта – студенческая демонстрация. Водила злобно рывкнул что-то про мать, принялся выкручивать руль – я остановил его, дал денег, отпустил – и пошел пешком. Толпу молодняка увидел сразу. Демонстрацией их, конечно, назвали сгоряча; народу – чуть. Такое ощущение, что пришли бухнуть вместе.

Время снова нарезало круг, булькнув из глубины забытыми плакатами «Долой капитализм!», «Капитализм – дерьмо». Видно было, что сильно не парились, просто – хотелось, как в городе-герое Париже: радикализм, анархия, свободная любовь... Громко переговариваясь, «демонстранты» несли чучело из соломы в красном пиджаке. Эту деталь я решил прояснить:

– Ребят, а почему пиджак красный?

– Он не красный. Он малиновый, – отозвался парень с длинными волосами, собранными в аккуратный пучок.

А, понял. В смысле – «новый русский»...

Какое-то время я шел рядом. Орала музыка, что-то про «шар цвета хаки». Один из демонстрантов, заболтавшись,

налетел на жоака с чучелом. В общей свалке чучело легко рассыпалось. Стали собирать. Помог. Подарил спасенному «буржую» в пиджаке значок «Хочешь похудеть – спроси меня как». Потом разошлись: они – сжигать капиталиста, а я – на него работать.

* * *

– Боря, ты мне не поможешь? – Киприадис начал с места в карьер, даже не поздоровался. Выглядел он странно: правый рукав пиджака в пыли, галстук сбился набок, выражение лица – озабоченное...

– Конечно, Константин Сергеич, – отозвался я. – Что нужно сделать?

Оказалось – ничего героического: всего лишь отвезти очередной пакет на Рижский вокзал и оставить в камере хранения. Честно говоря, я пожалел, что пункт назначения изменился – прошел месяц с того дня, как познакомился я с китаец-Комментатором, и меня преследовало чувство, что мы недоговорили тогда, что не расслышал я нечто важное или не спросил о чем-то. Больше всего хотелось побеседовать с ним о лондонской тюрьме и тех ощущениях, что не мог я списать на винтовой приход.

На этот раз пакет оказался куда тяжелее и больше, но я утешал себя мыслью: на вокзале обязательно вскрыю его и выясню, что за ценный груз доверяет мне Киприадис.

В метро было на удивление малолюдно; сел в углу, достал книгу. Оруэлл, «Скотный двор». Помню, время от времени отрывался от текста и пытался найти в окружающих людях черты героев: вот этот, с тупой обреченностью в глазах, похож на коня Работягу; эта – с толстыми ляжками, нахально выставленными напоказ, – овца; а вот уткнулась в газетный обрывок коза Мюриэл. Вспомнил и давешнего визитера фонда – того самого, что приходил к Киприадису и так сильно задел меня своим «директор дирекции» – вылитый боров Визгун, работник интеллектуального труда.

Рижский вокзал. Пронзительный гудок локомотива – «поезд Москва – Рига отправляется с первого пути».

Я зашагал к поездам – отчего-то казалось, что распаковать посылку надо непременно без свидетелей. Как в воду глядел! Уселся на парапет возле платформы – черт, холодно! – вынул сверток из пакета, поддел ногтем серую бумагу – она порвалась, с мягким хрустом раскрывая хранимое внутри.

И – что? Ничего сверхъестественного. Твердая – кажется, кожаная – обложка. Иностранные буквы. Бумага... Необычная. Желтоватая. Ну, книги... И все?

Разорвал обертку целиком; достал то, что скрывалось так тщательно; вновь и вновь рассматривал, листал. Три старинных, с инкрустацией и золотыми обрезами, тома на иностранном языке – по-моему, на латыни, хотя я мог и ошибиться. Я прикасался к обложкам – шершавая мягкая кожа отзывалась чуть слышным шепотом; я переворачивал стра-

ницы – и листы, плотные и тонкие, вступали разноголосым речитативом; я открывал книги и вновь закрывал – в глубине переплета рождался слабый свист, словно пытался вдохнуть туберкулезный больной.

И вдруг – понял. Дошло. Книги – да. Непростые книги. Дорогие, видимо, очень старые, ценные. Библиотека Института марксизма-ленинизма. Судя по всему – еще один источник доходов господина Киприадиса... Досадно стало: ну не парадокс ли? Такой человек... Адекватный, умный вроде... Нормально зарабатывает. А заодно – получается – книжки приворовывает? Пожал плечами, выругался чуть слышно. Три ходки за мной – но примитивной кражей всегда брезговал. Так сказать, – работа, не требующая умственного труда. Тырить библиотечные томики?

И вдруг – руки задрожали, на лбу выступил пот.

...«Поезд Москва – Рига отправляется с первого пути»...

Мыслей стало слишком много, каруселью – сперва медленно, потом – все быстрее – завертелось понимание. Молнией вспыхнуло в сознании: вот оно что! А ведь чувствовал! И – криком, то нараставшим, то затихающим в немоту, веселеньким припевом шлягера выныривало: вор! А потом – давно забытым, спустившимся из прошлого словом – порождением эпохи, находкой бесчисленных «Фитилей»: несун! Кто? Неужели – он, президент фонда, мудрый Каа Константин Киприадис? Да нет, бросьте, разве это похоже на правду? Вор – вот он, один, без всяких там алиби и смягчающих

обстоятельств – Горелов, трижды судимый! Взяли с поличным. Пытался спрятать – или вывезти, продать – украденные книги. Те самые, из библиотеки Института марксизма-ленинизма; судя по всему, из отдела редких изданий. Доказательства? Какие еще нужны доказательства – вот книги, каждая стоит... сколько, интересно, может стоять каждая? – волчок в голове внезапно остановился, будто наткнувшись на препятствие. А действительно, какова цена такого тома? Тысяча долларов? Две? Сорок?

...«Поезд Москва – Рига отправляется с первого пути», – хрипло, с трудом, то ли в морозном воздухе, то ли – сквозь дыру в голове...

Но – меня, меня-то как обули! Он же просто шахматную партию разыграл! И – развел, как последнего лоха, – кого? – Горелова, опытного, между прочим, аферюгу! И – как? Да легко: вы мне нравитесь, Борис Николаевич! такие оригинальные мысли, Борис! как голова у тебя варит, Боря! Вот и все, достаточно: побежал, как пес, за хозяином, повилял хвостом, послужил, получил сахарок. Я вдруг засмеялся в голос: он ведь даже премию мне выписал – за прошлый раз, когда (теперь-то я понимал!) отвез я ворованные книги в букинистическую лавку Дома художника. Да – а что же тогда Комментатор Мингьярович? Тоже – в доле? Надо бы выяснить в следующий раз... Если он будет...

Горечь вопреки всем законам физики поднималась со дна души вверх, к глотке, наполняла рот слюной. Я попытался

вдохнуть поглубже – не вышло; достал сигарету.

...«Поезд Москва – Рига...»... Я вдруг представил себе детский паровозик, который ездит туда-сюда, отправляется все время с одного и того же пути...

Надо для начала успокоиться. Надо признать: был идиотом на идиотской должности. «Директор дирекции». А ведь колобок с рожей пахана, боров Визгун, наверняка все знал. Потому и цедил слова, и смотрел так... Как? Как я заслужил – с пренебрежительным интересом: а, вот он, зиц-председатель, который вместо нас на нары пойдет – а он ниче, фактурный.

Тоской сдавило голову. Следующая волна раздумий нахлынула истерическим дамским всхлипом – «за что»? С какой стати? Ведь ни в чем я не был виноват перед господином президентом. Подобрал он меня – и правда, как пса шелудивого; по шерсти погладил; я, дурак доверчивый, пошел за ним... Даже собаку жалеют сентиментальные читатели прессы – собаку, которую приманивают, чтобы убить вернее, – а человек что же? В деталях вспомнил я наше знакомство: внезапный интерес его – как только услышал он заветные эти слова «из мест лишения свободы» – мелькнули, поди, лучом надежды. До этого – наверняка – потел ежесекундно от страха: а ну как поймают? А ну как посадят – его, гения, президента фонда, уважаемого человека? И тут – подарок судьбы: бывший зэк, сам идет в руки, только возьми. Он и взял.

...«Со второго пути отправляется поезд Москва – Вели-

кие Луки»... И чего я сижу? Срочно ехать в Великие Луки – может, там найду еще одного Киприадиса...

Книги – дорогой, тяжелый антиквариат – так и лежали у меня на коленях. Пальцы мяли сигарету – зачем? – ах да, я ведь хотел курить. Аккуратно положил три тома и смятую бумагу обратно в пакет, пощелкал зажигалкой: получилось, затянулся; дрожь чуть отпустила, но с мыслями ничего не мог сделать – муравьиной колонией навалились и бегали внутри черепной коробки, жалея время от времени. Куда теперь, товарищи? Как быть? Или – выражаясь высоким слогом суки-интеллигента Киприадиса – что делать? На минуточку мелькнуло: послать его на три, исчезнуть вместе с книгами – пусть до конца оценит гениальность собственного замысла. Тут же, однако, поморщился: мелко, ей-богу. Вполне достойно президента фонда – но не честного вора. Значит – что же? Оставить книги в камере хранения и уйти, ничего не объясняя?

Дальнейшую судьбу книг я представлял прекрасно – как будто сам придумал несложную схему вывоза культурных ценностей. Я оставляю три тома в ячейке – спустя какое-то время их забирает проводник либо проводница поезда: направление, скорей всего, заграница – и спокойно вывозит. Где-нибудь в Риге – а может, в Лейпциге – поезд встречает представитель покупателя либо сам покупатель; все: груз сдал – груз принял. Просто.

Да, так что же мне делать? Я встал, выбросил окурок – и

тут увидел их.

Двое. В форме. Идут ко мне. Сердце совершило странный кульбит. Не один раз в жизни моей это было – и никогда, клянусь, никогда я не боялся ареста так, как в эти секунды, – потому что знал: не виноват, подставили. Не выпуская из рук черный пакет с тысячами украденных не мной долларов, неторопливо пошел им навстречу. Вот один полез в карман – неужели за стволом?..

– У вас огня не найдется? – мент вытащил из кармана сигарету, вопросительно глянул на меня. Машинально кивнул головой, достал зажигалку. Они прикурили по очереди, вернули мой «Крикет», сказали спасибо.

...Перед тем как сдать книги в камеру хранения, я купил пару газет, упаковал их как следует. Потом спустился в метро...

* * *

– ...Здравствуй, дорогой, проходи!

Мы обнялись, Алик привычным жестом похлопал меня по спине, помог снять пальто. Странно: когда бы я к ним ни приехал, гендиректор торговой фирмы «Терек» Алик Бериев был дома, с женой, детьми и прочими чеченскими родственниками. Когда он работает? Или это мне так везет?

Я огляделся – ничего не изменилось. Восточный базар в московской трешке. Везде ковры: дорожки с розочками на

полу, красные ковровые изделия с кистями – на стенах. Обои видны только в коридоре – но лучше бы их не было: тоже с цветастыми разводами. На стене у входа в квартиру огромное зеркало в раме «под бронзу», на потолке большая люстра «с висюльками». В зале «чешская стенка», заставленная хрусталем. Над телевизором – морской пейзаж, купленный, по ходу, на Арбате. Года три назад я порывался сказать Алику, что теперь так не носят, и можно уже приобрести что-нибудь поновее. Но не решился, боялся обидеть.

Он крикнул что-то по-своему жене, Мадине, – она вышла, улыбаясь, поправляя платок на ходу, чуть слышно поздоровалась – и тут же скользнула обратно в комнату.

На шум выскочил пацаненок. Увидев меня, спрятался за отца, обнял его ноги и, выглядывая оттуда, как из укрытия, радостно заверещал:

– Гяур пришел! Гяур! Скоро джихад! У вас всех будет железо в голове, на вас дома обрушатся, а вы будете выть и плакать!

Я опешил – так меня здесь не встречали ни разу. Даже Киприадис вылетел из головы. Сказать ничего не успел: Алик поймал отпрыска за ухо, спросил грозно:

– Это что еще такое? Кто научил?

Тот взвизгнул – «Больно!» – потом насупился и пробурчал:

– Так дед говорит...

Алик обреченно кивнул: понятно, мол. Отпустил мальчишку.

– Извини, Борь. Деда сюда перевез, а у него с головой плохо совсем...

– Да ладно, плюнь. Нормально все.

– Ты что хочешь кушать, Боря? Плов есть, макароны есть...

– Ничего не хочу, Алик, не голодный. Ты лучше скажи: то, что я оставлял у тебя, – цело?

– Обижаешь, брат, – чуть улыбнувшись, протянул Алик. – Конечно, целое все, на кухне пылится...

Хорошо. Это хорошо, очень. Здесь, у Алика, накануне прошлого ареста я оставил свою алхимическую лабораторию: перегонный куб, баночки-скляночки-колбочки, шприцы и ингредиенты.

Алик Бериев на самом деле – Али; лишняя буква в конце – уступка столичным партнерам: «Пойми, брат, Али – это как-то... слишком... очень уж... мы же не сможем в мэрии сказать: мол, так звали зятя пророка...»

Поднялся Алик два года назад, в те драматические времена, когда чеченцы и тверские делили площадь у Киевского вокзала. Сначала было у него два ларька, потом пять, потом – магазин, второй, четвертый – так и возник гендиректор новой торговой фирмы. Подружились мы совершенно случайно: ресторан – компания – общие знакомцы – ну, давай на брудершафт. Уже потом я выяснил, что Алик – золотое дно;

вернее, даже не он сам, а его сестра, Амина, детский врач. Рецептурный бланк с четырьмя штампами – или, как у нас говорят, терка с четырьмя колотухами – для винтового главная отправная точка, условие счастья. Я помнил еще времена, когда солутан продавали без рецепта – но тогда он был мне не нужен: вот она, вечная драма несвоевременности.

Сам Алик наркотой вроде не баловался, хотя, по-моему, имел отношение к героиновой сети – да и не мог не иметь, потому что бизнес этот в основном был под чеченцами. Надо мной шутил беззлобно: уверял, что сижу я на винте исключительно потому, что это наркотик для интеллигентов – нравится он мне, разумеется, не может. Тем не менее, старший его сын, четырнадцатилетний пацан, всегда был готов слетать в ближайшую аптеку за солутаном, а Амина безропотно отоваривала меня рецептами: так велел им Алик. У Бериевых можно было переночевать, к ним позволялось зайти вмазаться, если негде, можно было варить.

А мне тогда было надо – именно так, по-другому не скажешь: надо было утешить и успокоить вставшую на дыбы душу; надо было каленым железом выжечь из головы суку-Киприадиса; надо было прорыть новые ходы из той кротовой норы, где я оказался. Поэтому я сразу же отправился на кухню, почти ощупью пробираясь по длинному темному коридору – кто это строил, какой урод?

В углу возле окна, замерев над пустой чашкой, полуприкрыв глаза, сидел неподвижно старик. Я не сразу его заме-

тил. Одет он был в широкие спортивные штаны, длинную фуфайку и вязаный жилет. Седые волосы покрывала маленькая тюбетейка. В руках старик сжимал деревянную палку.

– Дед мой, – кивнул Алик. – Совсем плохой. Да ты не обращай внимания, делай то, что надо тебе. Он немного того...

– В смысле? – я покосился на старика: сумасшедшим он вроде не выглядел – скорее, каким-то отрешенным. Коматозник.

– Да сын у него в деле был, менты застрелили. Младший, последний – дядя мой.

– Соболезную, – посочувствовал я. Алик махнул рукой:

– Да я его и не знал почти. Жена осталась и ребенок – дочка, полгода ей.

Я достал с верхних полок свое оборудование, нашел пистолет с солутаном – вроде не испортился...

– А, русская собака! – Старик вдруг ожил, раскрыл глаза, голос его раздался так неожиданно, что я чуть шприц не выронил. – Колоться пришел? Глаза себе выколи. Не нужны глаза, раз Аллаха не видишь!

Он поднял палку, угрожающе ею потряс, произнес длинную фразу на чужом языке – красиво, похоже на стих или песню.

– Это чё сейчас было? – спросил я Алика.

– А, это по-арабски, из Корана.

– Да я понял, что не по-русски. Перевести можешь?

Алик прикрыл глаза, вспоминая, и процитировал:

– «Будет между ними вражда... э-э-э... и ненависть до дня воскресения. Они зажгут огонь войны – а погасить его сможет один лишь Аллах».

– И что он имел в виду? В смысле – дед? – старик меня заинтересовал; глаза, точно пеплом присыпанные, казалось, смотрели в иной мир – и что-то там видели...

– Слухи у нас ходят... нехорошие. Говорят, через три месяца войска будут вводить. Поэтому наши все, кто знает, вывозят стариков, детей, женщин... Некоторые деньги отправляют туда...

– Какие войска, куда? Что за бред, Алик? Ты начал верить газетам, что ли?..

– Да нет, не бред, – покачал головой Алик. – Там плохо сейчас все. Дудаев хочет суверенитет, ему не дают. А оружия много...

– Умм аль-китаб под престолом Аллаха, и только он стирает, что желает, – продолжал старик, вставляя иностранные слова. – Мусе – Таурат, Дауду – Забур, Исе ибн Мариам – Инджиль. Люди Книги! Не будет у вас на земле опоры, кроме Торы, Евангелия и того, что вам ниспослано от вашего Владыки...

– Что еще за «люди книги»?

– Людьми Книги в Коране называют иудеев и христиан, – пояснил Алик. – Потому что у них были Писания, в отличие от язычников.

Дед быстро глянул на меня. Похлопал ладонью по толсто-

му томику, что лежал у него под рукой. Коран – ага. И снова заговорил:

– Все записано в Книге. А Книга – на небесах. И ни одной черты уже не сотрешь в ней.

– Так дед какую книгу имеет в виду? – поинтересовался я. – Тору или Евангелие? В какой из этих книг все записано?

– Аллах его разберет, – с досадой отозвался Алик. – Коран тоже называется Книгой...

– У каждого – своя Книга, – сказал дед. – И на Страшный суд каждый придет со своей Книгой. А ты, – он теперь обращался ко мне, – придешь к Аллаху вот с этим, – тут дед поддел мой пиджак, и из внутреннего кармана выпала пухлая записная книжка – мое все, самый нужный справочник, Коран и Талмуд наркомана.

– Пойдем, дед, в комнату, – ухватив старика под мышки, Алик потянул его к двери. – Идем, посидишь там, отдохнешь.

Старик покорно шаркал за Аликом, но у порога резко остановился и, вскинув палку, закричал:

– Вот с этой книгой ты и пойдешь на Суд! Вот она – твоя книга.

Алик вздохнул, легонько подтолкнул его. Ушли. Теперь можно было заняться делом. Спустя полчаса я наполнил шприц, перетянул резиновым шнуром плечо. На кухню вернулся Алик.

– Ты сейчас опять гулять уйдешь? – улыбнулся он.

– Да, наверное. Только чуть у тебя посижу сначала – ладно?

– Что за разговор, Боря, – сказал Алик. – Оставайся хоть навсегда.

Поршень скользнул вниз; а вот и она – первая волна прихода. Вскоре я оживился, потянуло на разговоры. Долго и увлеченно я беседовал о чем-то с Аликом; вспомнил о своем странном глюке.

– Тауэр, блин. Тюрьма средневековая. Представляешь?

– Не знаю, как на винте, – задумчиво проговорил Алик, – но про героин говорят, будто бы после укола душа может путешествовать в райские миры...

Нормально. Что же получается, я и в райских мирах, кроме тюрьмы, ничего не вижу? Думать об этом не хотелось.

Потом не выдержал и рассказал Алику про Киприадиса – как безбожно подставил меня президент фонда. Ну, хорошо, – не подставил, не успел – но ведь пытался! Алик слушал меня внимательно, хотя за окном вроде уже светало. Закончились наши посиделки неожиданно.

– Слушай, Боря, – веско сказал Алик, – давай завязывай ты с этим шакалом. Пойдешь ко мне в фирму на работу. Больших денег сразу не обещаю, зато никто тебя не обманет. Согласен?

Я сказал твердое «да», протянул ему руку. Алик продиктовал номер своего факса – теперь все у них официально, через отдел кадров, так что надо будет сбросить резюме.

Пульсом новой жизни забились эти чудесные слова: «сбросить резюме по факсу». Очень по-деловому звучали они, знаменуя конец сомнительного «директорства» в сомнительном фонде.

Глава 4. Борьба против Бога

Октябрь 1994 года

Я вышел от Алика рано утром, едва начало светать. Свинцовым зонтом раскрылось небо – темное, тяжелое, круглое. Крышкой накрыло город – котел, где никогда не остывало человеческое варево, чуть подрагивая ночью и утром, закипая днем, к вечеру достигая наибольшего градуса, время от времени выплескиваясь неожиданным ликованием или неумной болью. Уже распахивались двери магазинов и окошки «комков», появлялись на улице люди. Суетливо, иногда спотыкаясь, они бежали к метро; убирали с автомобилей опавшие листья; сутулясь под тяжестью пальто и курток, несли домой молоко и хлеб. Это – Перово; до Садового кольца еще не добежала жизненная волна; пока просыпаются окраины и потоками машин, составами метро устремляются – неизбежно, бесповоротно – в самую сердцевину воронки, туда, где мегаполис становится Москвой.

Головокружительный омут, черная вода – отразит разве что тень твою; и то – если не скользнет ветер, сдувая гладкость амальгамы, рождая рябь и путаницу, – вот она, Москва. Цыганка, гадающая по руке: то ли правду скажет, то ли наврет с три короба – все одно: замрешь, заслушаешься, отдашь последний пятак – и это Москва. Червонец в луже –

нагнись, достань. Рекламный щит на фоне церковного купола: скидка, распродажа, «сэйл».

Лучший город Земли, каменные джунгли, большая деревня, государство в государстве, выгребная яма – как хочешь, называй. Город-ответ – спрашивай. Город-ребус – отгадывай. Город-враг – сражайся.

Хуже всего в Москве тем, кто остался в столице жить, но полюбить ее так и не смог. Все бабье, что есть в потаенной глубине столицы, истерикой отзовется на раздражение и неприязнь; вечными женскими уколами отомстит; не даст прозябать нормально. Я никогда не понимал таких людей, потому что любил Москву и чувствовал ее: как и во мне, билась в ней авантюрная жилка, разливался размашистый кураж, отказывали тормоза. Для меня была она – колода карт: можно вытащить джокера, а можно – пиковый валет, пустые хлопоты; порой подмигнет дама треф, а то щелкнет наручниками казенный дом.

Тогда, в конце холодного октября, Москва подталкивала – давай иди; одобряла, похлопывала по плечу; но тут же пророчила тяжелым небом, предупреждала ледяной моросью. Я умел читать ее знаки и тревожно ловил надвигающиеся перемены – нервами, ключицами, спинным мозгом. Пока шел к метро, план в голове оформился окончательно: сначала двину в рожу, потом скажу: «Я увольняюсь». Или лучше наоборот: сначала скажу, а потом – в рожу. И – адье, мерзавец. Ищи себе другого «директора дирекции».

Странно: восемь утра, но нет давки. Подземка, где люди? Трое полусонных бедолаг на перроне. Может, апокалипсис случился, пока я ширялся у Алика? Машинально глянул на часы: дата, время. Да ведь сегодня суббота, выходной... «Дать в рожу» срывалось. Ладно, за два дня не остыну. Значит, сейчас – домой.

На выходе из метро заглянул в «комок» купить пачку сигарет и шоколадку. Тетка протянула сдачу и зачем-то – жвачку. Спросил, ответила – бери, мол, подарок. Мне частенько дарят всякие мелочи – не знаю почему; продавщицы разного возраста – просто мой фанклуб: заговаривают, улыбаются, рассказывают разное, жалуются...

Однокомнатную квартиру на площади Ильича я снял недавно – до этого была почти такая же, разве что подешевле, на Ленинградке, недалеко от Динамо, – но там было мне неуютно, район не нравился; да и соседи сверху все время скандалили.

Съемные квартиры удивительно похожи друг на друга: диван, шкаф, дешевый гарнитур в кухне, стол-табуретки-холодильник, иногда бонус – телевизор. Его я сразу и включил: смотреть не собирался, просто тишина давила, надо было срочно ее заглушить.

Видно, неправильный вчера был винт, нехороший: обычно приход длится дольше. Я как-то описывал винт одному студенту: приход похож на захватывающий широкоэкранный кинофильм с качественным звуком и яркими цветами;

когда же наступает отходняк, кажется, что тебе подсунули старый черно-белый телевизор с помехами и хрипом. Поэтому слезть с винта почти невозможно. Поэтому так часто шагают винтовые из окон или ныряют в петлю. Поэтому сядишься на винт не после первого укола, а в тот момент, когда решаешь попробовать.

Ящик распирало от новостей – слушать не стал, пошел сразу в душ. Думал – полегчает; нет – жгло изнутри какое-то беспокойство. Трижды пытался сделать чай – и забывал, почему держу в руках упаковку с заваркой, останавливался посреди кухни, глядя в пустоту и без конца перебирая в голове одно и то же: Киприадис – фонд – резюме-по-факсу. В конце концов понял, что дома сидеть не смогу. Оделся; ключи от кабинета в кармане. Дал же бог имечко – Вильгельм Пик.

В здании бывшего Института марксизма-ленинизма было пусто; одинокий охранник (Ваня? Или Вася?) тянул из пачки кефир; мне обрадовался, пригласил сыграть в нарды. Я пообещал, но позже, когда освобожусь – и открыл кабинет.

Что такое резюме и как оно пишется, я знал – несколько раз видел чужие на столе у Киприадиаса. А потому для начала сел, нарисовал табличку. Вдруг стало весело – никогда не писал автобиографию под винтом. Все, как полагается, – образование, опыт работы, даже хобби не забыл.

Итак, погнали. Горелов Борис. Тридцать восемь лет. Образование, специальность... Образование... Незаконченное высшее... Плюс три курса тюремных университетов. Про-

фессия. Аферист. Или – мошенник? Директор дирекции. Смешно. Не забыть три судимости. Собственно, почему я должен это писать? Хобби – легко: наркотики. Ха! Тридцать восемь... Три судимости... Наркотики... Идеальное резюме для воровского схода... Черт бы побрал этого Алика вместе с его резюме и факсом!

Вот она – жизнь. Вся уместилась на осьмушке листа. Спасибо, господин Горелов, за прекрасную биографию, за «светлый путь». Может, Киприадис проводит до тюрьмы, обвинит на прощанье, слезу прольет...

Окна в табличке блудливо ухмыльнулись. Нагло подмигнул стеклянными дверцами шкаф, показал мое отражение: вот он, Горелов Борис, тридцать восемь, худое лицо, выбритый подбородок, волосы черные с едва заметной проседью, глаза черные, пустые, безумные.

Наркоман... Аферист... Мошенник... Тридцать восемь... Три судимости...

Вскочил, схватил стул. Бросил – стеклянные дверцы обрушились на пол осколками: в каждом был я – Горелов, тридцать восемь, три судимости, мошенник, наркоман. Прислонился к стене – она оттолкнула меня. Бросился к окну, распахнул – ледяной ветер прыгнул на стол, схватил белые листы, уронил их на пол. Вон оно – резюме: пробует отползти под шкаф, надеется спрятаться. Хрен тебе, ясно? Вырывалось, ускользало – а я поймал! Вот же тебе – пополам! И – еще пополам! Кусочки становились меньше, меньше. В рас-

пахнутое окно отправился дырокол – грязно-серый, с вечно разинутой смеющейся пастью. Вслед за ним выбросился факс. Все. Резюме отправлено по факсу. Как договаривались...

...Опомнился. Увидел. На руке кровь. Откуда? А, поранился – весь пол в осколках. Выглянул, посмотрел вниз – да, факс валяется разбитый. Бред. Винтовой бред. В комнате царил полный бардак – когда это я успел? За окном быстро темнело.

Что же будет? Что? А вот что – я уйду. Начну сначала. Знать бы, где оно. Три судимости – виноват, простите. Но ведь китаец Комментатор сказал, что в нашей стране почти все сидели, и тот, второй, который с ним разговаривал, холерный обозреватель, тоже зону топтал, а поднялся, раскрутился, известный человек... И я смогу. Смогу. Сойду с поводка – уволюсь; дальше – либо к Алику, либо... не знаю.

Я стоял на берегу – меня захлестывало с головой. Да, решено. Новая жизнь. И – сейчас, прямо сейчас, не буду откладывать. Сделаю... что? Да хоть что-то... Чего не делал раньше... Во! Полы вымою. Нужно все стереть. Смыть – дочиста. Тряпка. Нужна тряпка. И швабра. И ведро.

Длинный коридор, темнота. Охранник – Ваня? или Вася? – окликнул меня, но я махнул рукой: отстань, не до тебя. Двинулся вдоль стены искать каптерку. Где-то должно быть подсобное помещение с тряпками, швабрами, ведрами... В моем институте было такое. О – вот оно! Маленькая

невзрачная дверь – она терялась рядом с остальными – высокими, солидными, с номерами. Закрыта. Ничего, не проблема; я достал маленький перочинный ножик (всегда носил с собой – мало ли!); аккуратно свинтил замок. Открыл дверь, вошел, нащупал выключатель. Включил свет...

Остолбенел.

Вот она, кормушка Киприадиса.

Судя по всему, был это какой-то спецхран. Метров пятьдесят в длину; шкафы выстроились рядами, глядя в затылок друг другу. На полках – книги. Такие же точно отвозил я на Рижский вокзал – дорогие. Антикварные. Старые книги в коже, древние тома с какими-то гвоздиками на обложках, книги с тисненными узорами, металлическими накладками и застежками, с золочеными буквами на корешках.

Тусклый ламповый свет не справлялся с надвигающимися сумерками; тени удлинялись, напоздали, обнимали уходящие ввысь ступени стеллажей; было удивительно тихо, немножко затхло.

Протянул руку к ближайшему шкафу – вытащил наугад. Большой том, потертый бархат обложки, названия нет – выдавлен какой-то знак; вроде бы дерево... Открыл. Альбом с иллюстрациями – глянец, текста чуть-чуть. Пролистал, споткнувшись о дореволюционные «яти» и «еры». Брейгель, «Слепые». И кто такой Брейгель? А, художник... Хоровод каких-то уродцев: идут то ли в реку, то ли в болото, где уже, задрав ноги, валяется один...

И вдруг я услышал шум деревьев. Ветер кружил листья, подбрасывал вверх и ронял вниз; сдувал шутовской колпак с безглазого; разрастался вширь, ввысь, обхватывал меня, тащил. Как я очутился здесь? Но – шагнул, приблизился. Слепые повернулись на звук, расцепили руки, двинулись ко мне.

И я побежал. Они преследовали меня, я слышал грубое тяжелое дыхание за спинами. Небо становилось все темнее, опускалась ночь, каждый шаг давался с трудом, и слепые догоняли. Обессилевший, с колотящимся сердцем, я упал. И тут же почувствовал: лес закончился, лежу на холодных камнях, в темноте. Встал на колени, ощупью пытаюсь распознать пространство: с одной стороны – стена. С другой... Впереди качнулась круглая тень; показался человек. Я прижался к камню, замер. Он прошел совсем рядом – монах, в длинном белом балахоне; капюшон, тоже белый, низко надвинутый, заслонял лицо; в одной руке у него был фонарь, в другой нес он книги. Не заметив меня, проследовал дальше – неспешным шагом, точно знал, куда идет. Я встал и двинулся за ним.

Длинная галерея, справа – ряд дверок: маленькие, просто так не зайдешь – придется нагнуться; в каждой двери – окошко. Возле одного монах задержался, стукнул раз, другой. Окошко приоткрылось – он молча просунул туда книгу и пошел дальше. А я шагнул внутрь.

Камень стен; тоска ноябрьских сумерек; свеча едва рассеивает тьму. Жилая комната? – нет, вроде; а, понял – монашеская келья: в углу – ниша, скамеечка – по ходу, для мо-

литвы; чуть дальше – нары, как есть – нары, с матрасом и простыней. На стене – большое деревянное распятие. Печь, стол, стул. За столом – человек в черном...

*...Замкнутые уста есть условие покоя сердца... Я снова вспомню это речение, когда брат Вильгельм стукнет два условленных раза в дверь и протянет книгу. Я здесь, в монастыре, в Чартерхаусе, дабы научиться скромности, христианскому смирению и добродетели; более же всего – пытаюсь остерегаться от дьявольских искушений, среди которых самые первые – любострастие и гордыня. Третий день провожу я в полном молчании, как требует того строгий картезианский устав; на смену страху и невольной дрожи приходят здоровое рассуждение, не омраченное порывами грешной души, и глубокий покой. Я привык к бедности своего ложа, и, хотя по утрам по-прежнему ломит все тело, уже могу спать; даже ночная котта мне почти не мешает. Сказано Наставником: одежда нужна тебе, чтобы защитить от холода, а не ради щегольства, также и пища – для утоления голода, а не в угоду чреву. Не потакать собственной плоти – в этом есть мера и мудрость. Башмаки из кожи, которые натирают мне ноги, на Пасху отдадут бедным – и они будут рады обнове; подать бедняку – значит услужить Богу, ведь, по слову Людовика Благочестивого, монастырь есть *patrimonia pauperum* – достояние бедных. А расточить и промотать достояние, вверенное монастырям и, соот-*

ветственно, принадлежащее Богу, значит сделаться убийцей бедняков; так гласит определение Парижского собора года 537 от Рождества Христова...

...Я вздрогну: в келье холодно; подходит время сна; потом брат-будильщик пройдет по коридорам, созывая к Полунощнице; словно благочестивые тени, неслышно ступая, повлекутся братья в белых и черных одеждах, с куколями, низко опущенными, славить Господа нашего. После надлежит вернуться в свою комнату и снова лечь спать; этот сон – неровный, поделенный надвое общей молитвой, – словно оцепенение духа в тот час, когда в Чистилище ожидает он приговора.

...Я подумаю: вот, укрылся я в сем вертограде избранных душ от порождаемых городом чудищ; ибо ничего нет там такого, что помогало бы человеку вести добрую жизнь, а не заставляло бы его, как раз наоборот, постоянно падать и не толкало бы в пучину всевозможных пороков. Там встречается он на своем пути лицемерную любовь и сладкую, как мед, отраву лести; там жестокая ненависть, вечные раздоры и таскания по судам; там мясники, повара, торговцы рыбой, живностью, пирожники, заботящиеся лишь о том, чтобы наполнить наши желудки!.. Самые дома и те как бы воздвигнуты для того, чтобы лишить нас неба; они своими кровлями ограничивают наш горизонт. Но даже и здесь, в стенах Чартерхауса, сражаюсь я непрерывно с тремя злейшими врагами: миром, дьяволом, плотью. И хотя не жалею

никаких сил, пытаясь карабкаться по отвесным скалам добродетели, ежечасно, ежеминутно ощущаю, как бунтует тело, подстрекаемое Врагом, как предаёт оно бессмертную душу. Пытался я укрощать свою плоть: проводил долгие часы в молитвах, постился, надевал власяницу, но вновь погружался во мрак, точно подталкиваемый непреодолимой силой. Наконец, отчаявшись опереться ногами на твёрдую стезю добродетели, пришёл сюда, к братьям молчания, в картезианскую обитель – сюда, где целомудрие не оскверняется ежесекундно царствующей вокруг похотью, где тишина и смирение нянчат и вскармливают чистоту духа, где существует один лишь вид неутолимого возжеления – возжеление Божественной истины, заключенной в книгах. Не этого ли ордена приор Дом Гильом во время пожара, бушевавшего в Гранд-Шартрез в 1371 году, видя, что с бедствием не справиться, воскликнул: «Отцы мои, Отцы мои, к книгам! к книгам!»... А что есть книга как не дитя одиночества и молчания? Не за тем ли и я пришёл сюда, чтобы вытеснить из алчущей души греховные томления, чтобы дать новую пищу разуму, дабы он возобладавал над плотской скверной?

...С этими мыслями я наугад открою книгу, и взгляд мой замрет на строчках, которые, конечно же, доводилось читать прежде, но которые вместе с тем только сейчас явят мне всю полноту заключенной в них мысли. «Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим, или ему предше-

ствовал только период, который я провел в утробе матери моей? О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных женщин. А что было до этого, Радость моя, Господь мой? Был я где-нибудь, был кем-нибудь? Рассказать мне об этом некому: ни отец, ни мать этого не могли: нет здесь ни чужого опыта, ни собственных воспоминаний...»

...И тут вдруг в дверь постучат; я поднимусь и пойду открывать окошко. И впервые увижу его...

— Открой мне, добрый брат!

...Я открою дверцу своей кельи, не разобрав, кто это, недоумевая, почему монах нарушает строгое правило Устава; а когда он войдет и откинет с головы куколь, рассмотрю его как должно. Не молодой, но и не слишком старый; высокий лоб открывается залысиной; у него густые брови, большой мясистый нос, губы не узкие и не чересчур широкие, на носу — дужка со стеклами для чтения; усы, борода и виски седые, но глаза — словно у безбородого юноши. В самой глубине прищуренных очей его почудится мне неуместная для этих стен веселость; словно взлетающие к небу искры от костра, она то гаснет, то вспыхивает вновь. Он проворно повернется, затворит дверь и продолжит говорить. Я сначала попробую объяснить знаками, что не хочу нарушать правило молчания, но он лишь махнет рукой.

— Не трудись складывать пальцы — я не понимаю знаков. Не бойся меня. Не опасайся. Поговори со мной, добрый брат, послушай, ответь: я старик, и порой мне нужен собеседник.

И дай-ка мне воды...

Тут я вспомню: да, мне доводилось слышать, что в монастыре живет то ли святой, то ли безумный; ученейший монах; человек глубокого ума и обширных познаний, к которому приходят за советом и помощью простолюдины. Мне известно и его имя – Умберто. Я плесну в кружку воды, подам ему, скажу нерешительно:

– Но, отец мой, Устав требует молчания, я не могу...

– Истина нуждается в сомнении, правила – в нарушении, молчание – в разговоре. Храня молчание, ты теряешь надежду. А разве не за новой надеждой ты пришел сюда, Томас?

Он знает мое имя – но я не удивлен. Он жадно выпьет воду, утрется рукавом рясы. Я попытаюсь объяснить:

– Да, но...

Он перебьет меня:

– Ты ищешь спасения. Ты ищешь противоядия. Ты боишься и хочешь спрятаться от страхов. Но не сможешь, ибо не дано грешному человеку уйти от своих грехов – вечно, вечно он будет к ним возвращаться, точно пес к своей блевотине. И неправда, будто бы могут дать спасение монастырские стены, строгий устав и псалмы. Если ты несешь в обитель заразу, то не добудешь себе выздоровления, но лишь запятнаешь болезнью других. Не с тем ты пришел, нет, не с тем...

Он покачает головой, глядя на меня с укоризной. Спустя несколько секунд молчания я скажу:

— Но как же, отец Умберто? Куда же идти грешнику, как не в дом сынов Господних, где постоянно призывают имя Его в борьбе с искушениями дьявола?

— В мир, Томас, в мир. Там твое сражение будет уместно; там исход битвы неясен — там ты можешь и победить. Но не здесь, где ты неминуемо будешь повержен, ибо неоткуда черпать силы и негде взять оружие.

— Но ведь мир — юдоль скорби, град грехов, выгребная яма, где Зло ежечасно торжествует; там бессилен человек, ибо не может он ничего изменить и влачит свои жалкие дни в слезах и отчаянии...

— И все же там твое место. Посмотри на себя: что ты делаешь в обители? Не похож ли ты на преступника, который, дабы уберечься от искуса, сам надевает на себя кандалы и этим только усиливает свою тягу к преступлению? Полуденный бес искушает тебя — вижу; но зачем ты бежишь от него? Зачем хочешь укрыться под куколом? Неужто не найдешь иной дороги, отмеченной нашим Господом и отцами церкви? Разве лучше быть развратным священником, нежели добрым семьянином?

Он взглянет на меня — внимательно, пристально; добрая улыбка тронет глаза, спрячется в бороду. Я не отвечаю — я молчу; да и как скажу я ему, почти святому, что не только грех прелюбодеяствия страшит меня, что порой ощущаю я в глубинах своего сердца безрадостный смех дьявола — и закрываю уши, чтобы не сойти с ума... А он продолжит гово-

ритель:

— Мир пугает тебя, ты просишь: «Спаси мя, Господи, от пасти львов», — но Господь не поможет отступнику; не пожалеет труса, не спасет малодушного. Не ищи здесь убежища — ибо не за тем приходят в монастырь...

— Но зачем же тогда?

— За Истиной. За Книгой. Приходят чистые душою, обуздав себя, победив грехи; приходят те, кто видел лицо Врага и не убоился; приходят, когда побеждены мелкие мирские соблазны, когда сребролюбие, гнев, похоть, зависть уже не властны войти даже в первый придел человеческого духа. Приходят пустые, как эта вот кружка, — и он вверх дном перевернет ее, чтобы показать мне — ничего нет.

— Но ведь сейчас книги есть не только в монастырях, отец Умберто?

— Не книги, Томас, — Книга. Одна. Одна единственная Книга Творения, которую прочесть пытаемся, которую надеемся понять. Но кто-то стасовал, смешал и переиначил слова Книги сильнее, чем позволено...

— Что это значит, отец Умберто?..

Глава 5. Бунт

Октябрь 1994 года

...Очнулся не сразу, постепенно осознавая свое тело. Лежал ничком на полу, машинально повторяя: «Что это значит? Что это значит?» – на разные лады, точно сам себя передразнивал. Время споткнулось; из пустоты и полого молчания вылепило паузу. Потом опять затикало, пошло обычным ходом. Последним проснулся мозг; прояснил ситуацию – глюк, нормальный винтовой глюк.

Или – нет? Никогда раньше монахов, или священников, или еще каких-нибудь «служителей культа» во время приходов я не видел. Но – не суть. Тот, кого звали Томасом, – он, по-моему, не был монахом, а только собирался постричься – это был я. То есть видел, слышал и думал за него – я. Самое же странное и необъяснимое заключалось в том, что снова, как и тогда, после Дома художника, я мог подробно описать все, что пережил во время непонятной галлюцинации. Я помнил.

Что это было? Может быть, затуманенное винтом сознание выдало информацию, которой я раньше не знал. Но тогда вопрос – а откуда она взялась? Кто и зачем воткнул меня в сериал про монаха? Мелькнуло вдруг – путешествие во времени. Круто. С детства мечтал.

От запоздалого отходняка стало страшно. Ощущение катастрофы сжало внутренности, паника стиснула сначала желудок, потом горло. Метнулся в угол – ползком, на животе – вывернуло наизнанку. Отдышался. Вытерся. Встал, шатаясь. И – пришел в себя окончательно.

Сразу решил: про монахов пока думать не буду. Сейчас точно не разберусь – отложу. Надо сосредоточиться на насущном. К примеру, сколько времени? Глянул на часы – оказалось, что галлюцинация заняла всего минут пять. Тоже нелепо как-то, но я махнул рукой: в конце концов, у винта есть и такая особенность – растягивать и комкать время. Тогда, у Татки, я был уверен, что провел в черной дыре пару секунд, а оказалось – всю ночь маялся. А теперь, видимо, наоборот: показалось, что прошло несколько часов, а на деле – ерунда. И хорошо. А то, не дай Бог, прибрел бы сюда охранник (как же его все-таки зовут? Ваня или Вася?).

Я двинулся дальше – осматривать и обнюхивать находку, обходить хранилище. Шкафы – в потолок. Стеллажи вдоль стен. В некоторых – закрытые ящики, вроде сейфов. Антиквариат. Раритеты. Ценности. Новодевичье кладбище, для особо отмеченных. Я опять вспомнил Киприадиса. Эксгуматор... Трупоед...

Вот оно. Момент истины, твою мать. Книги...

Деньги – большие, настоящие деньги, запертые в марксистско-ленинском изоляторе.

Вдруг все ушло: затянувшаяся бездеятельность, «акаде-

мический отпуск», культурный досуг и беседы о вечном. Не быть мне грузчиком... И – хорошо. Правильно. Резюме по факсу обрело новый неожиданный смысл. Три судимости – нормально. Весомо. Я – это я: аферист, мошенник, хобби – наркотики. А помойку оставим – для Киприадисов и Визгунов.

Клад, Клондайк, Эльдorado! Я почувствовал себя ныряльщиком за жемчугом, перед которым вдруг расступилось море. Вот они – раковины. Бери, сколько хочешь...

И – возьму. Проблема оборотных средств решена в полном соответствии с учением Маркса о первоначальном накоплении капитала.

Буду бомбить. В той неотвратимости, с которой раритеты оказались на моем пути, чудилась мне высшая справедливость – а заодно и месть господину президенту фонда, который использовал меня как половую тряпку...

А увольняться-то теперь и ни к чему. Только одно крохотное сомнение червячком копошилось внутри: точно наткнулся я на хранилище не просто, а – благодаря Киприадису. Чувствовал – объяснить не мог; точно не просто так решил взять и сделать деньги на этих книжках, а подталкивал меня к этому Киприадис, подталкивал тем, что именно так обо мне и думал, именно такое место для меня отвел. Он назвал, дал имя, как Господь, – вор. А я и стал вором.

Посадят обязательно... Хотя... Плюнуть-растереть: нары, по большому счету, не страшней этих полок, так же лежишь,

а время идет. Да и – не в первый раз...

Шел вдоль полок, рассматривая книги, иногда – вынимая, пытаюсь прочесть. Были на русском, но выглядели не так впечатляюще, как иностранные.

Вытянул наугад. Ух ты – «Майн Кампф». Самое место для него – в институте марксизма-ленинизма. Хозяева друг друга стоили, хотя и ставили на разных козырей. Книга как книга. Я держал ее в руках и ничего не испытывал, никакого трепета. Вдруг вспомнил – обрывки родительских разговоров на кухне, воспоминания отца, рассказы бабки... Генерал Путканер, Дробицкий яр, Харьков – «восточные ворота»... Вошли в октябре, в управе на Сумской вывесили приказ Путканера – «о выявлении жидовских элементов». И сразу забегали добровольцы. Привыкли доносить... А потом – евреев гнали по Московскому тракту к заводским баракам... Почему-то представил себе эту картину: идут тихо, а из окон – смотрят на них уцелевшие; тайком, боясь, что заметят – и тоже заберут; смотрят – жалостливо, злорадно, с любопытством, а как это – идти на убой? Я всегда был равнодушен к еврейской теме, но мутная эта затаенность, как и тайное ликование: не меня, не меня! – все это было неправильно.

Встряхнулся – во, занесло! А ведь книжка-то наверняка пойдет за хорошую цену; сейчас многие увлекаются... Старая, года тридцать третьего. Взял ее – и еще парочку – с шикарным переплетом. Спрятал под рубаху – вроде не видно. Выключил свет, вышел. Вспомнил деда-чеченца – вот с эти-

ми книгами можно и на Страшный суд...

– Ну че, Борь, – окликнул Ваня-или-Вася. – Закончил свои дела – нет? Может, в нарды разочек?

– Расставляй, – бросил я на ходу. – Сейчас приду, подмету только в комнате, а то у меня там шкаф упал.

– Вот, блин, не повезло! – посочувствовал Ваня-или-Вася. – А я и то слышу, как там у тебя гроыхает, думаю – че за фигня? А это шкаф, оказывается...

Книги я обернул бумагой, спрятал в стол. Прибрал в кабинете, закрыл окно и пошел играть в нарды.

...Вася. Все-таки Вася. Я прямо его спросил: мол, как зовут-то тебя?.. Играл Вася с азартом, с прибаутками, долго гоняя в ладони кубики, по-детски расстраиваясь и радуясь. Радоваться, правда, ему не часто приходилось – везло мне в эту ночь, феноменально везло, с таким фартом в казино надо было идти, а не сидеть в бывшем Институте марксизма-ленинизма. Пять – шесть: с головы в крайний угол – повезло! Теперь надо две – и рраз! – выпало. Дубль, еще дубль! И все – в тему, ни одного пустого! Васек расстраивался, нервно сжимал кулаки – я вдруг обратил внимание на татуировку у основания большого пальца: паучок. Насекомое как будто шевелило лапками в такт его движениям. Усмехнулся: неужели коллега? По ходу, со всех сторон обложился Киприадис: не повезет со мной, переведет стрелки на охранника. Спросил между делом:

– Где такую красоту сотворили?

Вася замялся, потер паучка пальцами, ответил:

– Да, это... короче, пацаны знакомые предложили клеевую картинку сделать. Ну, я согласился... А че?

– А то, Вася, – вздохнул я, кидая кубики, – что татуировка эта – воровская. Не знал? Так что поосторожней демонстрируй. По понятиям за такое наказывают.

– Оба на! Борь, а че означает?

– Паук, Вася, означает, что ты уполз от закона. Со статьи прыгнул. Должен был сесть – а соскочил. Понял?

Вася загрузился, почесал затылок – соображал, видно. Потом проговорил:

– Ну так, Борь, а я почти и это... Ну, типа, в общем, подхожу... Спрыгнул, правда...

– Откуда ты прыгнул?

– Ну, и от ментов, можно сказать...

Он поерзал в своем кресле, явно готовясь к длинному повествованию.

Мне часто рассказывают истории – настоящие и с фантазиями; почему рассказывают – не знаю – не такой уж я хороший слушатель, могу и пошутить некстати, и перебить на середине; иногда просто хочется рукой махнуть и послать трепача. Еще с первой ходки накрепко прилипла ко мне обязанность жилетки; а в последний раз и вовсе прозвали «Боря-исповедник»...

– Я же не московский сам, – начал Вася, – я с Рязани. Там, короче, когда все завертелось – ну, комки, там, ларь-

ки, разборки, – я только с армии пришел. Ну, куда податься? К ментам – стремно вроде; учиться – можно, а жить тогда на что? Матери зарплату полгода не платили. Ну и, короче, дядька мой меня пристроил к какому-то знакомому своего знакомого – через десятые руки – телком, ну – телохранителем. Хозяин оказался вроде ниче так. Видно, конечно, что бандит, но я-то от этих дел далеко был: он мне так и сказал сразу – твоя, говорит, задача – чисто меня охранять, в разборки не вступать. Ну, короче, охранял. Где-то полгода. Все ровно шло, без напрягов – ну, там пару раз, конечно, съездил с ним на стрелки, но делать ниче не пришлось – стоял, смотрел. Он ко мне хорошо относился, бабок было нормально, платил вовремя, иногда еще и так давал, типа премиальные; а главное – если телок снимал, то всегда мне оставлял. Короче, классный мужик. У него еще любовница была, он ей квартиру купил. Не шикарную, без всяких джакузи – в обычном доме пятиэтажном. Короче, в мае, числа пятнадцатого... нет, погоди... да, пятнадцатого, вечером к ней засобирался. Ну, я отвез его. А там, во дворе, машину поставить негде. Я с обратной стороны дома встал. Тогда уже не очень спокойно все было, че-то против него собиралось. Поэтому я специально предупредил: перед тем, говорю, как из квартиры выйти, сбросьте мне на пейджер, я поднимусь. Чтоб один, в смысле, не ходил. Короче, жду час, два – как обычно. Вдруг слышу – стрельба во дворе. Я, честно говоря, сразу понял, что это его положили. Кинулся туда – только

машину увидел. «Девятка» с тонированными стеклами. Ну, и он, в смысле, хозяин, лежит перед дверью — по ходу, когда из подъезда выходил, стрелять начали. Я вот сейчас уже думаю: надо было мне тогда ментов вызвать и ждать их спокойно — ни при чем ведь был. А я, знаешь, струхнул нехило. Думаю: все, хана. Братва мигом виноватого найдет — им ведь и не объяснишь ничего. Короче, свалил по-скорому, у другана решил пока перекантоваться. Через три дня, на похоронах, какой-то мудака с миной самодельной под гроб кинулся — четверых ранил, сам с концами. Как я понял, передел новый какой-то начался. А еще через день я узнал, что бабу его тоже мочканули. В общем, надо было ноги делать из этой Рязани, пока жив. Подался в Москву. Здесь по первому объявлению устроился сторожем на какую-то стройку. Но там платили копейки, да и жить в этом вагончике... сам понимаешь. Ходил-ходил, искал чего получше, сюда попал. Нормально, тихо, тепло, платят ровно. Такая, короче, история...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.